Е.ИСАКОВ

НЕИСТРЕБИМЫЙ МАЙОР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Неистребимый майор» — книга рассказов адмирала флота Советского Союза И. С. Исакова.

Свою флотскую службу И. С. Исаков начал более пятидесяти лет назад мичманом на эсминце «Изяслав». Участвовал в Октябрьской революции, в гражданской и Великой Отечественной войне.

Со многими интересными, преданными своему делу и увлеченными людьми встречался автор. О них он и рассказывает в своей книге.

Тепло и взволнованно говорит И. Исаков о «Неистребимом майоре», который смертельно болен и все-таки добивается, чтобы его послали на фронт, о замечательном морском летчике Борисе Чухновском, с таким мастерством управляющем своей видавшей виды «девяткой» («Конец одной „девятки“»), о «Летучем голландце» — Николае Юльевиче Озаровском, попавшем в беду, но прежде всего думающем, как бы не пострадала от этого работа.

Герои И. С. Исакова привлекают своей нравственной чистотой, мужеством, духовным богатством.

- Иван Степанович Исаков
  -
  - Неистребимый майор
  - Две тысячи двести — и одна
  - Пари «Летучего голландца»
  - Конец одной «девятки»
  - Первое дипломатическое поручение
  - Последние часы
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Иван Степанович Исаков
Неистребимый майор

Невыдуманные рассказы

Неистребимый майор

1

Приходилось ли вам наблюдать, как коллектив самых обыкновенных людей, распределив между собой роли и даже применяя методы конспирации, объединяется для того, чтобы общими усилиями, но скрытно делать доброе дело?

Совершенно случайно мне удалось быть свидетелем подобной коллективной воли к добру. Произошло это в переломный период войны, почему и не удалось проследить всю историю до конца. Но даже то, что пришлось наблюдать на протяжении двух-трех месяцев, по-моему, заслуживает описания.

«Неистребимый майор», как его потом стали называть товарищи, служил офицером связи в одном из наших штабов. По всем человеческим и божеским установлениям он не мог находиться в прифронтовой полосе, а должен был лежать где-

нибудь в глубоком тылу, в сосновом лесу, стараясь продлить свою жизнь. Потому что, если верить заключению ВТЭК и пухлой санитарной книжке, жить ему оставалось совсем немного.

К лету 1941 года у майора в отставке была конечная форма туберкулеза, или, как раньше говорили, «чахотка в последнем градусе». Пять лет назад, после летной катастрофы, в которой он, единственный из всех, уцелел с раздавленной грудной клеткой, его демобилизовали «по чистой», инвалидом 2-й группы. Потом гнойный плеврит, потом туберкулез. Когда разрушение легких достигло такой степени, что наложение пневмоторакса стало невозможным, он, по совету одного старого врача, поселился под Москвой и лечился хвойным воздухом, молоком и покоем.

Пересмотрев свой гардероб, книги, родных, приятелей, знакомых и освободив друзей и родственников от мучительной обязанности соболезновать, майор сам ощутил большое облегчение. Так постепенно сократились до минимума его связи с привычной средой.

Но отключаться от жизни он не собирался. Небольшой радиоприемник, газеты, военные журналы и деревенские комсомольцы связывали майора с остальным миром.

Абсолютно не зная, когда и как он может понадобиться своей стране, он продолжал следить за новинками техники и организации ВВС и ПВО, тщательно анализировал опыт войны в воздухе по скудным материалам печати и радио, когда Люфтваффе свирепствовало в Испании, а затем в Польше.

И для него начало гитлеровского вторжения в СССР не было неожиданным. Сопоставление сотен фактов (именно фактов, а не речей и статей), на первый взгляд мало связанных между собой, привело его к мысли, что, раз после Дюнкерка высадка на Британские острова не состоялась, Гитлер готовится повернуть на Восток. Помогло и знание истории, в частности история так называемого Булонского лагеря Наполеона.

Когда началась война, майор не поехал в районный центр ни в первый день, ни в первую неделю. Он понимал, что военкому не до больных.

Но когда схлынула первая волна призыва, он явился прямо в Москву.

Понадобилось полгода непрерывных споров, настойчивых требований, чтобы в какой-то медкомиссии наконец написали: «Можно допустить к работе в тылу, в кабинетных условиях, при строгом соблюдении режима…»

Позднее, вспоминая о своих мытарствах, майор мягко шутил, рассказывая, как помогла ему сентенция из учебника, согласно которой: «В современных условиях разделение фронта и тыла —

очень условно, и четкой грани между ними не существует…» С этой сентенцией и с резолюцией медиков он «просочился» в одну из воздушных армий на южном (приморском) фланге фронта.

За сутки перед этим был снят с должности очередной «офицер для связи ВВС с армией и военно-морской базой». Из-за сложности обстановки в смешанной морской авиагруппе, поддерживавшей наземные части и корабли флота, происходило немало недоразумений с воздушной армией и ПВО, за которые формально приходилось отвечать «офицеру для связи». Майору предложили вакантную должность.

Когда наконец с нечеловеческими усилиями он вскарабкался на эту желанную ступень, то с грустью убедился, что его в авиации уже не помнят. Сосновый бор под Москвой оказался слишком глухим.

К счастью, доброе имя не зарастает быльем, — правда, если есть кому напомнить об этом имени.

Один из командиров авиаполков, молоденький подполковник, оказался в прошлом учеником отставного майора.

Комполка очень смутился при встрече. И не потому, что обогнал в звании некогда обожаемого инструктора, а оттого, что уже несколько лет считал его покоящимся на кладбище.

Через час весь полк, через сутки вся дивизия штурмовиков знала, какой человек сидит теперь в штабе над ними и что отныне «кончится всякая петрушка» при взаимодействии не только с наземными войсками и с моряками, но даже с ПВО.

Действительно — «петрушка» резко пошла на убыль.

2

Повезло ему или не повезло?

Зачисленный в воздушную армию, развернутую на нашем крайнем морском фланге, майор одновременно должен был курировать и флотские авиачасти военно-морской базы.

Собственно говоря, девять десятых этой базы уже были заняты немцами. Но последняя, десятая, застряла у них как кость в горле — прочно и надолго.

Майор проводил время то у моряков, то у армейцев. Со служебным авторитетом дело наладилось довольно быстро. Майор невольно привлекал к себе всех, кто соприкасался с этим доброжелательным, скромно и самоотверженно работавшим офицером.

Сложней обстояло с условиями работы.

Майор начинал задыхаться через пять минут в любой тесной

и накуренной комнате, в плотно набитом блиндаже или убежище. И первым исключением, допущенным для него, было негласное разрешение жить в бывшем клубном павильоне, главным строительным материалом для которого, по утверждению местных остряков, служил воздух.

Легкий восьмиугольный павильон располагался на террасе, над морем, среди газонов и цветников, под тонким шатром ярко-зеленой крыши. Кроме того, библиотека, брошенная при поспешной эвакуации санатория, хотя и не являлась хранилищем мирового значения, все же могла порадовать кое-какими находками.

Особую ценность воздушного замка майор понял после первых своих докладов, кочуя от начальника штаба прибрежной армии к морякам, в их тоннельный КП, размещенный в скалистой пещере, которую инженерные части так и не успели пробить насквозь. Быстрое перемещение фронта вынудило устроить оперативную группу штаба военно-морской базы в сырой, темной и плохо вентилируемой штольне, со стен которой капала вода. Зато многометровый пласт породы гарантировал даже от тысячекилограммовой бомбы.

При помощи переносного вентилятора и двух-трех лампочек, работавших от небольшого движка, для командира базы и его основных сотрудников удалось создать относительно сносные условия работы. Что касается майора, то даже кратковременное пребывание в душном и сыром подземелье было для него подлинной пыткой, хотя он и скрывал это всеми силами. Не лучше было и на соседнем армейском КП.

Когда к середине доклада представителя ВВС контр-адмирал перевел свой взгляд с оперативной карты на пальцы майора, разъяснявшего передислокацию немецких авиачастей, он увидел совершенно синие ногти. А подняв глаза, начальство обнаружило мелкий бисер пота на лбу и висках докладчика.

— Давайте прервемся, майор… Невмоготу! Сижу здесь уже несколько часов и совсем закис без свежего воздуха…

И в нарушение всех штабных традиций служебный разговор был продолжен на скамейке перед входом.

За обедом у командира базы, на котором обычно присутствовали его заместитель, флагарт, флагмин и два доктора, причем младшего военврача приглашали только потому, что это была женщина, адмирал поделился своими впечатлениями о здоровье майора.

— Вы его хотя бы послушали, — неуверенно сказал он старшему врачу.

Последний ответил с какой-то непонятной жестокостью:

— Бесполезно! У него нечего слушать!

Подполковника медицинской службы бесила полная невозможность помочь больному. Однако, честно говоря, подполковника еще больше злило повышенное внимание красивой докторши к безнадежному пациенту — внимание, носившее, по мнению старшего врача, явно личный характер.

Вот и сейчас, после резкой фразы своего прямого начальника, докторша залилась краской.

Адмирал внимательно посмотрел в лицо обоим представителям военной медицины и, с явным расчетом вызвать столкновение, спросил:

— Неужели ему ничем нельзя помочь?

— Конечно, можно, — слишком решительно выпалила докторша.

— Желаю вам успеха! — с саркастическим оттенком в голосе сказал старший военврач.

Здоровая, молодая и жизнерадостная женщина, лучше других понимавшая физическое состояние майора, скоро должна была признаться себе в нарастающей сильной привязанности. Но для нее было ясно и другое — майор знал свое состояние и был не из тех людей, которые беззаботно принимают жертвы от ближних. Вернувшись к жизни для борьбы с фашизмом, майор жил только этой борьбой. Он просто не замечал происходившего с докторшей, а был лишь искренне признателен ей за заботу.

3

Распорядок рабочего дня определялся твердой рукой командира базы и начальника штаба армии. Как бы ни обострялась обстановка, очередные доклады не отменялись (пусть в другой час и короче), так же как и обычные обеды и ужины, привозимые в термосах. В итоге создавалось впечатление хорошо налаженной машины. Так оно и было на самом деле.

Что касается режима жизни штабного городка, то тут, по соглашению начальников, «диктаторствовал» армейский комендант — смуглый человек со сросшимися бровями, о национальности которого свидетельствовал не только орлиный нос, но и характерный акцент.

Внучатый племянник покорителя Карса, он унаследовал от знаменитого деда отвагу, богатырское сложение и здоровье.

Комендант и его помощник капитан-лейтенант добивались такого маскировочного режима, который обеспечивал бы бесперебойную работу штабов.

Днем никто не имел права «шевелиться». Никто, за исключением адмирала, который ходил со своим автоматом где хотел и когда хотел, не считаясь ни с комендантами, ни с немцами.

Маскировочная дисциплина была доведена до виртуозности.

Ни автомашин, ни коней, ни дыма из камбузов нельзя было усмотреть даже с ближайшего холма.

Для перебежки в тоннель или в отделы обоих штабов существовали укрытые сверху переходы. Когда же в воздухе появлялась «рама», то никакие ссылки на вызов начальства или на наличие высокого звания не помогали.

Все замирало.

Только с наступлением темноты, выйдя из подвальных помещений бывшего санатория, люди дышали в полную грудь. Установилась традиция — для не занятых дежурством — собираться на скамейках вокруг павильона. Правда, море было видно только в лунные ночи. Но обилие воздуха, шум прибоя, мутная полоска где-то далеко внизу, даже в пасмурные ночи, небо без единой звезды помогали чувствовать, что море где-то здесь, близко — Черное море.

В такие ночи к майору подсаживались самые разные люди, независимо от рода войск или чинов. Сидели и тихо слушали, поражаясь, откуда может знать столько интересного о жизни сравнительно молодой и к тому же смертельно больной человек.

Разговоры о «жизни» текли тихо и размеренно; пока докторша, неизменно садившаяся с краю скамейки, ласково, но твердо не предлагала майору идти спать.

Оставшиеся еще долго обсуждали рассказанное майором. Интересно, что после его ухода почти никого и никогда не тянуло на анекдоты.

Артиллерийская стрельба, неслышная днем, ночью доносилась невнятным урчанием с двух направлений: с севера, где иногда можно было даже различить басы береговых батарей, и с северо-востока, из-за верхушек гор, наголо выбритых осенними норд-остами.

Воздух никто не тревожил. Не знаю, почему немцы не делали ночью налетов. Вероятно, потому, что из-за пересеченной местности и сложных боевых порядков можно было накрыть собственные войска. Наши по ночам летали редко — не хватало ни самолетов, ни горючего. Слишком много было их отдано для защиты подходов к Волге, к Эльхотову и Маглобеку.

Так или иначе, но на скамейке над морем ночью можно было посидеть спокойно. Изгнанный медициной майор тоже не спал, сидел у себя молча — пусть думают, что он точно выполняет

врачебное предписание.

Симпатии к майору со стороны многих и очень разных людей росли быстро, хотя он сам об этом вовсе не заботился. Возможно потому, что он никого никогда не укорял и не читал нотаций.

Если в его присутствии, заранее давясь от смеха, кто-либо начинал анекдот про неизменного Циперовича, майор молча вставал и уходил, ни жестом, ни мимикой не выражая осуждения. И рассказчик увядал. Конечно, в каждом большом коллективе есть свои Боккаччо, к сожалению далеко не равноценные великому итальянцу по искусству повествования и выбору сюжетов. Но прежде чем начать очередную новеллу, местный Мазуччо предварительно оглядывался: нет ли поблизости майора; то же самое делали и виртуозы матерщины. А между тем обитатель павильона отнюдь не был ханжой. Остроумные рассказы он любил слушать и сам знал их немало, и даже из числа тех, что вгоняли в краску младшего военврача.

В один из вечеров на боковой скамейке «для курящих», в отсутствие майора, произошел такой обмен любезностями:

— Слушай, Гайк! Говорят, где-то на Кавказе, в горах, был обычай… почетному гостю, старику, на ночь под одеяло молоденьких девушек класть… Это верно?

Комендант промолчал. Очевидно, у него не было охоты отвечать инженер-майору, известному сердцееду и хвастуну.

Сидевший тут же старший военврач продолжил эту тему:

— Нечто подобное было и в древнем Риме, а еще раньше — у египтян. Больше того, пытались делать переливание крови молодых старым патрициям и, наверное, — идиоты — удивлялись, что старики не молодеют… воображаю, сколько юношей и девушек загубили! А заодно и стариков. Ведь тогда даже не знали о совместимости групп крови.

Инженер-майору такая трактовка вопроса показалась скучной.

— А по-моему, если даже к самому худосочному парню положить в постель пышущую здоровьем бабу… ну, вроде нашей докторши, то это поможет… только не майору…

— Слушай!.. — хрипло перебил его комендант. — Если ты еще слово скажешь о майоре или о докторше, то я тебе подробно объясню, что у предков этот обычай стал отмирать с того времени, когда пришлось в числе почетных гостей принимать и такую сволочь, как ты!.. И учти, сейчас темно и не видно твоей лишней шпалы, так что могу и по морде дать.

— Товарищи!.. Вы слышали? Старшему в звании! Товарищи! — Голос инженер-майора перешел с растерянно-оскорбленной интонации на официальную. — Надеюсь, вы все

подтвердите слышанное… Я иду сейчас же к начштаба, чтобы… чтобы…

Тяжелое молчание нарушил седой подполковник из запаса. В голосе его чувствовалась уверенность, что он говорит от имени всех присутствующих.

— Идите к начальнику штаба! И не беспокойтесь — мы все, как один, засвидетельствуем, что вы подлец!

Хруст гравия подтвердил, что тронулись сразу все и разошлись в разные стороны.

4

Как-то, пробираясь не без ущерба для флотских брюк к стоянке автомашин, командир базы невольно услышал разговор шоферов.

— На кой хрен твоему эластичная подвеска?

— Так начарт знает, что я добыл для его «виллиса»!

— Не твоя печаль! Ты давай амортизаторы, а мы доложим, что у тебя забрали, — настаивал шофер с голубыми петлицами ВВС.

Заметив начальство, шоферы для проформы откозыряли — словно отгоняли мух с козырька и, не допуская мысли, что контр-адмирал не состоит в тайном сообществе, обратились к нему за разрешением спора.

Оказалось, что шофер начальника артиллерии, когда был в штабе фронта, «добыл» пару новеньких амортизаторов для машины своего шефа (способ добычи не уточнялся). Но шофер майора, поддержанный всеми остальными, требовал поставить амортизаторы на свой «виллис», причем так, чтобы никто ничего не знал о подмене. Для этого шоферы должны были, помогая друг другу, провести всю операцию сверхсрочно — машина в любой момент могла потребоваться для выезда в части.

Все обошлось. Майор не заметил, что его старая «антилопа», доставшаяся ему от много раз сменявшихся предшественников, стала бегать более плавно. Но шоферы были очень довольны и с видом заговорщиков подмигивали друг другу.

А вот другой случай. В тоннеле, против контр-адмирала, расстроенная докторша.

— Внизу, на берегу, от двенадцати до шестнадцати часов самое жаркое время, печет!

— Простите, но я не понимаю, к чему это?

— А к тому, — в самом искреннем беспокойстве выкладывала докторша, — что майор хочет туда ехать, к вашим морским

летчикам, в самую жару!.. Это самоубийство!.. Как будто нельзя отложить до вечера!

— Однако, Надежда Петровна, вы ставите меня в сложное положение! Я ведь еще не знаю, кто, куда и когда хочет ехать. Он еще не спрашивал на это разрешения! — отбивался командир базы.

— А я потому здесь и нахожусь, чтобы вас предупредить! Чего стоила бы моя… забота… точнее, профилактика, если бы я прибежала после его отъезда!

— Да!.. Завидую майору!.. Если бы кто-нибудь так профилактически заботился обо мне!

Командир военно-морской базы сказал это медленно, спокойно, без какой-либо игривой интонации, глядя прямо в глаза женщине. Он был сильный человек и не пытался скрывать свою зависть.

А еще через минуту явился майор.

— Прошу разрешения выехать сейчас в морскую авиагруппу для уточнения некоторых сведений. За время моего отсутствия никаких осложнений не предвидится.

— Поедете в восемнадцать часов. Возможно, днем вы мне понадобитесь здесь.

Нужно было видеть, как просветлело лицо докторши!

Но контр-адмирал был прежде всего начальником, и, чтобы избежать лишних излияний, он стремительно добавил:

— Доктор, я вас не задерживаю.

От неожиданности она густо покраснела и вышла смущенная, но благодарная, хотя ей и показалось, что, если понадобится, адмирал не задумываясь пошлет майора в любое пекло и в любое время.

Мелких и не мелких случаев заботы о майоре было так много, что всех не перечесть. Наша жизнь состоит из мелочей, даже на фронте.

Однажды начальник морского узла связи предложил поставить на прямую два так называемых «кожаных» аппарата (американская «помощь») с тем, чтобы избавить майора от необходимости ходить в тоннель с докладами к командиру базы. Но последний твердо отвел это предложение. Доклад есть доклад, кроме того, без карты — уже не доклад. Да и «таблицу взаимодействия» по телефону не расскажешь.

— И вообще, ставить в такое привилегированное положение одного из офицеров штаба — абсурд! Да вы мне самому столько аппаратов наставили, что я путаюсь в их звонках. И наконец, убежден, что он сам на это не пойдет, заподозрив оскорбительную для себя опеку. Можете идти!

С майором на эту тему разговора не было, и надо думать — к лучшему.

Партгруппа передового эшелона армейского штаба, учитывая состояние здоровья майора, не загружала его поручениями. Но если бы заглянуть в клеенчатую тетрадь, которую носил секретарь за пазухой, можно было неожиданно обнаружить, что у майора перечень выполненных поручений был куда длиннее, чем у многих других коммунистов, офицеров штаба, здоровых, как слоны.

А происходило это вот почему.

Скажем, садятся на скамейке и на земле вокруг майора молодые солдаты, матросы, машинистки, буфетчицы (с неизменной докторшей на фланге). Почти все комсомольцы. Немного погодя одна из девушек мечтательно спрашивает: «А вот на то-ой звездочке люди живут… или нет?..»

Мичман-радист вдруг говорит с необычной горечью:

— Не знаю наверное! Но убежден, что ежели там люди есть, то обязательно воюют промеж себя!.. Вроде как здесь, на земле!

— Скажешь!

— Скажу! Сам лично читал в одной книжке, переводной с французского языка. Вот забыл только, как его фамилия, этого писателя. Он так прямо и говорит, что «человек — это животное с ружьем!». Поняла? А значит, если есть где еще человек, то есть и винтовка! А есть винтовка, — значит, есть и война!

— Заткнись, Карпов… Тоже мне философ!

— Подождите спорить, товарищи! Тут два разных вопроса. Давайте так: позже подробно поговорим о том, есть ли жизнь на других планетах. А сначала обсудим другой вопрос: «Как винтовка произошла от обезьяны?» Не обижайтесь, Карпов, я шучу! А вашего француза, которого звали Анатоль Франс, я очень уважаю, хотя с его философией и не совсем согласен. Кстати, старик умер, успев приветствовать Октябрьскую революцию. Был близок к Французской коммунистической партии и дружил с нашим Максимом Горьким. И если быть точным, то его изречение сейчас должно бы звучать иначе: «Человек — это животное с автоматом!», и относится оно целиком к фрицам… А не ко всему человечеству.

Наступила очень характерная пауза. В ней было и раздумье, и смешок, и убежденное — «верно!», а под конец — почти общее «согласны!».

И еще почти два часа после этого звучал спокойный и тихий голос майора.

Кончилось это, как всегда после запретительного демарша докторши, глубоким вздохом пробуждающихся к

действительности людей. Почти два часа они не слышали отдаленного шума войны, даже с той стороны, откуда пытались наступать «животные с автоматами». Как всегда, некоторые еще долго не расходились и молча смотрели вверх, старательно разыскивая названные майором звезды.

Наутро в тетрадке секретаря появилась новая запись: «„Беседа с ВЛКСМ о материалистическом понимании вселенной“, 1 час 30 мин., присутствовало 12 человек». Запись, о которой майор даже не подозревал до отчетного собрания.

Так бывало много раз. И не только на ночной скамейке. Вот почему самый беспомощный и больной из членов организации шел в ее первых рядах в качестве первоклассного пропагандиста, одного из тех, что агитируют не только словом, но и всей своей жизнью.

Человечность и дружелюбие — взаимообратимы.

Было также известно, что некоторые офицеры, а иногда кто-либо из комендантской команды или шоферов старались незаметно прошмыгнуть в павильон с измятым письмом, зажатым в ладони, чтобы спросить майора: «Как дальше жить, если соседка пишет за жену…»

Особенно стеснялись морячки, потому что павильон стоял на территории штаба армии.

Через месяц майор уже был копилкой горестей и страстей почти всех работников обоих штабов. Нет, не копилкой, а прочным сейфом.

Скажете, что уж очень похоже на исповедальню? Пожалуй, формально сходство есть. Но майор не походил на священника: ведь он никогда не обманывал.

Скажете, что к нему тянулись, зная, что его дни сочтены? Но это неверно, ведь все они были на фронте, под бомбами, и кое-кто мог запросто обогнать майора.

Нет, тут подсознательно могло влиять другое. Почти все воюющие мечтали после победы с ликованием вернуться домой и затем десятки лет жить радостным, мирным созиданием. Никто и не подозревал тогда, какие новые задачи, трудности и напасти готовит для всех нас вечно меняющаяся жизнь.

Вот этого мирного будущего (включая ликование) у майора, очевидно, не было. И люди, тайком проникавшие к нему в павильон, возможно, чувствовали это.

5

Проработавшему в штабе военно-морской базы недели две

постепенно невидимое становилось видимым.

При разнообразном составе участников всех рангов и положений — от начштаба и контр-адмирала до вестовых — большинство из них даже не подозревало, что состоит в незарегистрированном тайном «сообществе содействия майору». Одни втянулись в него по зову сердца, другие — потому, что майор тронул их своим стоицизмом и душевной привлекательностью, остальные — заразившись добрыми побуждениями от соприкосновения с теми, для кого после выполнения воинского долга следующей обязанностью была забота о боевых товарищах.

Пожалуй, самым подкупающим в этой затее было то, что благодаря анонимности поступков они были абсолютно бескорыстны. Добрые дела не имели надежды на компенсацию, хотя бы только морального порядка, даже в перспективе.

Нетрудно догадаться, что во главе «сообщества» стояла младший военврач, объект увлечения почти всех мужчин из состава двух штабов.

Энергичная и деятельная, военврач работала за двоих, не покладая рук. Вела себя безупречно. Только одна мелочь говорила, что она помнит о своей женской здоровой и яркой красоте: она повязывала голову не белой косынкой, а цветастым шелковым платочком.

Начальники не делали ей замечаний. Очевидно, всем нравилось это смелое сочетание ярких красок лица и косынки.

Не хочется распространяться на тему о ее чувствах и побуждениях.

Автору всегда казалось, что в жизни и в искусстве здоровое всегда тянется к здоровому. Как часто люди оборачиваются вслед случайным встречным, и вы слышите: «Какая чудесная пара!», сказанное порой нарочито громко, чтобы доставить другим удовольствие.

В данном случае, очевидно, все родилось из материнского чувства заботы об очень хорошем человеке. Почему здесь дал короткое замыкание так называемый «здоровый инстинкт», который подсознательно оберегает людей от многих опасных увлечений? Инстинкт не сработал, разум не уберег, хотя женщина помнила случайно слышанную циничную фразу отвергнутого фанфарона:

— Ну какая она ему жена или любовница? Вдовой его она может быть — но не больше!

И все же военврач неизменно держала себя в руках.

В последнее время майор стал пропадать в штабе штурмовой авиадивизии и в других соединениях чаще, чем это бывало раньше. Более того, он ухитрился без ведома начальства сделать в качестве летнаба вылет на морском «ИЛ-2», приспособленном для фоторазведки.

Идею подсказали моряки из пехотной бригады, занимавшие позиции почти на вершине хребта, тянувшегося параллельно берегу. Сначала это была только догадка, но фотоснимки и добытые «языки» подтвердили, что на стыке немецкого флангового батальона и румынской горнострелковой бригады не все обстоит нормально.

По первому впечатлению все казалось правильным: передовое охранение и немцев и румын находилось на линии, равно удаленной от переднего края нашей обороны. Но у немцев главные огневые средства были оттянуты значительно глубже, чем у румын.

В период затишья на фронте это оставалось незамеченным, так как и немцы и их союзники занимали смежные овраги, покрытые низкорослой густой растительностью. Гребни оборонялись только подвижными огневыми точками и патрулями.

О том, что стыки относительно более уязвимы, известно из учебников. Но, видимо, в данном случае по каким-то причинам ни у румын, ни у немцев не было охоты обеспечить («привязать») взаимодействие обороны на этом участке.

Когда майор предложил использовать своеобразие развертывания сил противника, начальнику штаба армии понадобилась только одна минута, чтобы сказать:

— Пройдите в свой павильон… Пригласите контр-адмирала. Заберите карту и фотоснимки… Я сейчас подойду.

Выслушав все соображения майора и командира базы, начштаба приказал доставить в павильон двух «языков» — немецкого и румынского, очень удачно добытых недавно, можно сказать, специально для этого разговора. Постарались морские пехотинцы.

Из опроса нетрудно было убедиться, что в немецких подразделениях «свои порядки», а у нас — «свои», как сказал румын, подтвердивший, что у них с фрицами нет дружбы, «даже между господами офицерами». Германские офицеры изредка проверяют готовность их батальона и других частей, но командир румынской горнострелковой бригады, говорят, еще ни разу не допускался для ответного осмотра позиции и системы огня соседа.

Немец оказался менее разговорчивым, но его презрение к румынам вообще и к товарищу по несчастью в особенности

лишний раз подтвердило слова коллеги. Особенно ценным оказалось его сообщение о «вечной путанице при переговорах по всем видам связи», так как «у этих скрипачей даже переводчики плохо знают немецкий язык».

Начштаба, посоветовавшись с командиром базы, дал указания для разработки плана ночного удара в стык частей противника, сразу по двум смежным ущельям, с демонстрацией в двух других ущельях, как только уйдет луна. Разведывательные полеты над районом операции были запрещены. Специальные разведгруппы должны были перерезать (по возможности) все провода между «дорогими союзниками».

Прежде чем выйти из павильона, командир военно-морской базы раздумчиво сказал:

— Я убежден, что немец сознательно оттянул свой фланг с тем, чтобы в случае угрозы для начала прикрыться румынами… Типично для воинской морали фашиста… Однако, если наша операция закончится успешно, — он не выиграет, а проиграет… Но вряд ли стоит задаваться целью учить фашиста рыцарской честности!

Тактическая операция против стыка немецких и румынских частей, позже получившая название «операция майора», закончилась полным успехом.

Больше того, после условных ракет об общем отходе, предусмотренных для того, чтобы черноморцы не зарвались, произошла непредвиденная «петрушка».

В итоге проверки оказалось, что, за исключением небольшого числа, участвовавшие в бою армейцы и моряки давно находятся на гребне хребта и с интересом слушают трескотню, не убывающую во вражеском тылу.

Когда подоспели обратно группы прикрытия отхода, они успели прихватить десяток новых пленных немцев. Румынских и немецких солдат в первую фазу боя было взято больше трех десятков. Но то были пленные как пленные. Стандартные.

А новые, приведенные группами прикрытия были с безумно вытаращенными глазами, обалделые и онемевшие.

Окончательную ясность в происходящее внес усатый старшина армейской группы, бойцы которой все до единого вернулись увешанные трофейными автоматами и ручными пулеметами.

— Так что они промеж себя воюют, да так старательно, что не будь приказания об отходе — целую роту бы привели.

Но последовала и другая реакция.

Находившиеся на передовом НП, почти на вершине хребта, стали уговаривать командарма «развить успех»; горячие головы

договаривались даже до возможности «прорыва», с выходом на плато. Однако спокойный и выдержанный командующий предоставил дальнейшее «развитие успеха» самим немцам и румынам.

Группа гитлеровских армий «Юг», пробивавшаяся к Волге и Закавказью, была еще очень сильна, а наши фланговые дивизии, прикрывавшие морское побережье, к концу лета получали самые скудные пополнения. Еще не пришел час для решительного перелома обстановки на данном направлении. И командарм понимал это лучше других. Поэтому командиру дивизии были даны указания использовать возможности вклинения нашего боевого порядка на этом участке, в предвидении будущих наступательных действий, но не больше.

На фоне общих крупных событий тактическая операция у побережья осталась, конечно, почти незамеченной, но она была предложена майором, и младший военврач ходила именинницей. Кроме того, возникали разговоры о предстоящих награждениях; правда, они, как водится, очень быстро сошли на нет в суете повседневной работы. И, наконец, неожиданно выявилось еще одно последствие — внезапный приезд человека с полевой сумкой. Человек этот, потребовав от коменданта отдельную комнату, вызвал на допрос майора.

7

Что касается тактических уроков из успешных ночных действий, то состоялся их специальный разбор, и, обычно скупой на похвалы, командарм на этот раз сказал несколько лестных слов в адрес исполнителей. Майора командующий упомянул особо, назвав его инициатором операции, и недвусмысленно дал понять остальным штабникам, что от них требуется не только четкое составление сводок, донесений и таблиц, но и творческие выводы из анализа обстановки.

Однако был еще один, особый урок, который извлек для себя командир базы. Он запомнил его надолго, хотя выводы оставил при себе. Говоря об этом уроке, нам придется заглянуть в его биографию.

Когда в 1937 году в армии и флоте начались изъятия, постепенно перешедшие в какую-то непонятную и губительную эпидемию, он неожиданно был арестован там, где служил, — на Тихоокеанском флоте. Перед этим исчезли два друга, товарищи по учебному отряду, соратники по войне в Испании, отважные пацаны тех лет, когда у добровольцев не спрашивали год

рождения. Если бы нужно было дать за них поручительство, он сделал бы это не задумываясь. А между тем военком после их ареста укоризненно выговаривал ему, что надо осторожнее выбирать себе друзей.

Первым ощущением было недоумение. Никто из начальства разъяснений не давал, а повседневные призывы к бдительности в создавшейся обстановке приводили к взаимной подозрительности, замкнутости и стараниям избегать серьезных разговоров даже при встрече с приятелями. Когда же стало известно, что арестованы член Военного Совета и начальник политуправления, выходец из рабочей семьи, известный почти фанатичной любовью к партии и бдительностью, недоумение сменилось растерянностью, а затем какой-то тоскливой апатией.

Но самое страшное и нелепое заключалось в том, что возможность нападения на СССР все больше становилась реальностью, а военачальники, в которых мыслящие офицеры привыкли видеть не только героев времен гражданской войны, но прежде всего людей будущего, исчезали один за другим.

Мысль, что наверху не знают о происходящем, была исключена. Не могли же арестовывать маршалов без ведома верховного!

Нудные и нелепые разговоры со следователем по ночам, выматывание нервов, волнения за Родину и семью так же неожиданно закончились, как и начались, — освобождением в 1938 году.

Сознание подсказывало, что молчание — золото (тем более что была взята подписка о молчании), но совесть с трудом мирилась с этим.

Осенью 1938 года он вернулся в часть, где пришлось срочно наверстывать упущенное в подготовке к войне.

Большинство его коллег, как и он сам, старались глушить тоскливое настроение безмерной работой, тем более что было над чем трудиться. Но, конечно, даже самое сильное утомление не могло заглушить тревогу за общее ослабление кадров армии, тревогу, которая как-то парадоксально сочеталась с апатией к своей личной судьбе.

А потом — 22 июня 1941 года. Другие мысли, другие дела — ведь нельзя воевать вполсилы.

В двух или трех случаях, став командиром лодки, а потом дивизиона и бригады, наконец, к лету сорок второго, — одной из военно-морских баз, он почти не реагировал на вызовы и допросы подчиненных ему офицеров. Возможно, потому, что все было обставлено «в соответствии с действующими инструкциями и положениями».

На этот раз, в случае с майором, обвинение было настолько нелепым, что сам подозреваемый ничего не мог понять, а затем решил, что его разыгрывают, так как авиация к ночным действиям не привлекалась вовсе. Однако следователь держался другого мнения. Самым удивительным оказалось утверждение, что якобы вследствие доклада офицера для связи ВВС недостаточно обеспечили успех последней операции.

(Это напомнило контр-адмиралу логику первого обвинения, предъявленного ему на Дальнем Востоке.)

Майор пытался разъяснить, что постановка задач авиации и объем ее использования в конечном итоге определяется командованием, и все же не смог избежать сакраментального вопроса: «Что вас побудило?» Не дождавшись ответа, человек с сумкой угрожающе повысил голос. Тогда майор, которому все вдруг стало совершенно безразлично, тихо сказал:

— Я вам отвечать не буду!

— Ах так?! Тогда подпишитесь под протоколом и этой припиской «об отказе давать показания»!

Еще тише и еще спокойнее майор ответил:

— Я ничего подписывать не буду.

Последовала недоуменная пауза, вслед за которой на повышенной ноте, но с долей растерянности угрожающе прозвучало:

— Ах так?! Ну, вы сейчас заговорите иначе! — При этом гость штаба сгреб все бумаги в сумку и вылетел из помещения. Еще больше он растерялся, когда чья-то стальная клешня больно сжала его запястье и оттянула под веранду дома.

— У нас здесь днем ходить не полагается, — спокойно, но твердо изрек комендант и выразительно показал на небо. — Вы, наверное, к командиру базы? — Гайк слышал весь диалог через открытое окно. — Так я вас провожу в тоннель…

Потому ли, что он вспомнил дальневосточную тоску, потому ли, что успел глубоко оценить военные и особенно штабные качества майора, а может, и потому, что боковым зрением чувствовал на себе нестерпимый взгляд младшего военврача, но командир базы вдруг произнес спокойно и твердо, не дав следователю договорить, что… «мы располагаем материалом…».

— Никуда он не поедет. Вас не устраивает такое решение? Тогда обратитесь к командующему армией. Это недалеко, вас проводят… Можете идти. Я занят.

Ответ был настолько неожиданным, вернее непривычным, что следователь не произнес ни одного слова. Он осторожно взял свою сумку и фуражку и двинулся к выходу из тоннеля. Для присутствующих осталось неясным — собирается он

опротестовать решение, поедет ли к командующему, или к члену Военного Совета, или…

Через пять минут дежурный флаг-офицер доложил, что гость прошел по ходам сообщения на стоянку машин, огрызнулся на предложение дать проводника и скрылся в том направлении, откуда прибыл.

Что касается командира базы, то он, как всегда, когда требовала того душа, взял свой автомат и, тихо выйдя из тоннеля, пополз по кустам на один из передовых НП своих снайперов, где, заняв у них винтовку с оптическим прицелом, можно было обрести нормальное настроение. Он знал, что это считалось не контр-адмиральским делом. Но в ожидании предстоящих десантов отводил душу таким способом, несмотря на ворчание старшего адмирала и на разодранные флотские штаны.

«Теперь надо ждать, что вызовут не только майора, но и меня… Ну и черт с ним! — думал он, пригнувшись от пропевшей немецкой пули. — Одна, — значит, снайпер! Ну-ну — кто кого?»

Но работа есть работа, особенно для командира базы на ответственном направлении. Вот почему, благополучно вернувшись со свежей зарубкой на прикладе, вечером, докладывая командующему, он просто забыл упомянуть о случае со следователем, хотя первоначально предполагал это сделать.

Майор работал, как всегда, на пределе своих сил и, как всегда, стоически скрывал, насколько это ему тяжело дается. О допросе он забыл, тем более что никаких напоминаний не делалось. Майор был наивно убежден, что достаточно иметь чистую совесть и честно выполнять свой долг, и всякая ложь, провокации или злостные наветы сами собой отпадут, вроде подсохшей коросты.

А между тем весь штаб базы, а затем — армейский, обе комендантские команды и обслуживающий персонал уже знали о разговоре, состоявшемся в тоннеле. О командире базы говорили с особенным уважением, а майор, над которым нависла опасность, стал для всех как-то еще ближе и дороже.

Постепенно инцидент начал забываться, а через месяц стало известно, что у командарма состоится церемония вручения орденов морякам и армейцам, на которую приедет заместитель командующего фронтом. Одновременно контр-адмирал узнал, что его представление офицера для связи с ВВС к ордену Красного Знамени, поддержанное начальником штаба армии, утверждено.

На усадьбе винсовхоза, в числе выстроившихся для получения орденов, оказался так хорошо знакомый следователь. И командир базы, возвращаясь после церемонии в свой тоннель,

думал:

«Черт с ним! Возможно, что он и заслужил эту свою Звезду. Ведь я не знаю всего объема его работы, а у него громадный участок фронта и примыкающего тыла. Но в случае с майором он бесспорно кривил душой, так как отлично понимал, что юрист собирался отличиться, не имея никаких серьезных оснований для следствия. Достаточно вспомнить тот апломб, с которым он явился на КП. А ведь потом он не рискнул пойти с жалобой к командарму и замял дело.

— Нет! Этого я ему простить не могу!

— Так!.. А себе?

— Сколько раз, еще в предвоенные годы, сковывала тебя эта мрачная апатия, когда бывали почти аналогичные случаи с подчиненными? А что, если бы раньше стукнуть по столу и твердо сказать: „Не согласен. Протестую“? Еще бы раз забрали? Возможно. Но ведь в некоторых случаях, когда инициатором надуманного „дела“ являлся маленький карьерист, он отступил бы! Обязательно! Именно чтобы не испортить себе послужной список..

Конечно, победа над мелкотой, вроде этого следователя, вовсе не решение всей проблемы. Но если бы все, на каждом участке работы оказывали такое противодействие? Возможно, что тогда скорее выявилась бы правда и оказалось невозможным продолжение этого кошмара. Во всяком случае, теперь кончилось проклятое наваждение, которое сковывало волю и разум только при одном появлении следователя. Да и сам он вряд ли еще раз сунется только из-за личных побуждений».

Пожалуй, это казалось главным уроком из проведенной операции, хотя не решавшим и в сотой доле всей мрачной проблемы.

8

Знали ли немцы о точном местонахождении наших КП и узла связи?

Общее суждение сводилось к следующему: знают, что где-то в данном районе, в одном из бывших санаториев или винсовхозе, но в каком именно — не знают. При этом добавлялось, что о существовании тоннеля фашистам также известно, но точные координаты им неясны.

Факты подтверждали это предположение.

Самым опасным для раскрытия дислокации штабов и КП были по-немецки методичные появления «рамы».

Кстати, я не знаю человека, в ком этот уродливый самолет — «FW-189» — не вызывал бы гадливого ощущения. Да и вред он причинял нашим войскам немалый — своей визуальной и фоторазведкой, не говоря уже о корректировке огня. Некоторые наши летчики уверяли, что сбить «раму» не так-то просто из-за ее маневренности, тем более что обычно ее прикрывали «мессершмитты». Эта самая «рама» наведывалась очень часто и упорно просматривала весь район. И в этом случае успех дела решала не столько система маскировки, сколько дисциплина скрытности и скрупулезное ее соблюдение.

Как ворчали полковники и генералы, которых высаживали почти за километр от КП, куда-то отгоняя их машины!

Как ворчал командир батареи мелкокалиберных зенитных автоматов, замаскированных на позиции, прямо над домом отдыха, ворчал на то, что комендант ни разу не разрешил ему открывать огонь по проклятой «раме», иногда нахально спускавшейся до тысячи метров! На сетование, «что если так будет и дальше, то скоро паутина в стволах заведется», следовал спокойный, но твердый ответ, с легким акцентом:

— Паутину найду — на гауптвахту пойдешь… Без разрешения огонь откроешь — под суд пойдешь!

Чтобы понять чувство мичмана — командира батареи, надо добавить, что установки, как и он сам, были сняты с потопленного немцами нашего корабля.

Вообще недовольных было очень много. Но комендант не боялся ни бога, ни черта, никого на свете, кроме командира базы и начальника штаба, которому был подчинен непосредственно.

Памятный для всех чудесный солнечный день начался с ослепительного утра. Но на этот раз, хотя появление ненавистной «рамы» казалось обычным, дальнейшие события развивались неожиданным образом.

Главный пост наблюдения, в ответ на специальный запрос коменданта, дважды подтвердил, что, несмотря на отличную видимость, больше никаких самолетов в воздухе не наблюдается. Между тем «рама» упорно не выходила из зенита. Из-за быстро бегущих облаков временами казалось, что она идет боком или даже стоит на месте.

Люди, застрявшие по сигналу тревоги в случайных укрытиях, досадовали и чертыхались.

Вдруг раздался резкий свист гигантского бича, и на участке дома отдыха разорвались снаряды крупного калибра. Провизжали разлетающиеся стальные осколки и осколки скального грунта.

Видимых разрушений не было.

Начарт стоял невдалеке, в укрытии, и, верный

профессиональной привычке, впился глазами в свои ручные часы, чтобы засечь интервалы между залпами.

Ждать пришлось не особенно долго.

— Не спешит! Почти полминуты, а мог бы через двенадцать — пятнадцать секунд, — сказал он перебравшемуся к нему коменданту. — Это — стопятидесятка. Та самая, которая обстреливала поворот на шоссе. Но, очевидно, выдвинута вперед или поставлена на колодки.

Второй залп сполз по дальности метров на восемьдесят — сто, так что один снаряд взметнул в воздух цветочную клумбу, а два остальных легли на дальней границе территории дома отдыха.

— Для первых пристрелочных залпов работа хорошая! Конечно, если он делал расчеты, беря за ориентир наш павильон.

— Типун тебе на язык!

Когда еще через минуту смотрящий на циферблат часов начарт сделал рукой отсекающий жест, означающий падение следующих снарядов, залпа не последовало.

— Вот черт! Очевидно, у них с «рамой» не так уж ладится связь.

Не успел начарт закончить фразу, как хлестнул третий, запоздавший залп.

Куда залетели остальные снаряды, никто не заметил, потому что кровля павильона вдруг, в грохоте и в дыму, приподнялась, как крышка гигантской кастрюли, и осела к земле. Взрывная волна с летящими кирпичами и осколками заставила всех инстинктивно пригнуться и закрыть глаза. Когда же клубы дыма и известковой пыли медленно рассеялись, оказалось, что воздушный замок больше не существует. Странно было видеть деревья и строения, стоящие по ту сторону площадки, раньше заслоняемые силуэтом павильона.

Теперь от всего этого великолепного сооружения осталась неожиданно низенькая груда битого кирпича и ломаных брусьев, на метр-полтора возвышавшаяся над уровнем бывшей танцплощадки. Сверху эта куча была прикрыта изжеванным, а местами разорванным шатром осевшей крыши, потерявшей не только форму, но и цвет: известковая пыль запятнала ее грязно-белыми разводами.

У всех промелькнула одна страшная мысль: «А ведь там — майор!»

Первую попытку людей броситься к развалинам павильона пресек мощный окрик коменданта.

Как ни любил Гайк майора, он не мог позволить «раме» впервые за много месяцев сфотографировать здесь скопление

людей и выдать место расположения КП. Он остановил людей, а сам бросился по переходам к тоннелю.

Когда на КП вбежал комендант, там оказались адмирал и начштарм, которым и было доложено о катастрофе с павильоном, под которым остался офицер для связи. На это последовало две реакции.

Первая:

— А все остальные офицеры в укрытиях? Узел связи цел?

О второй реакции трудно говорить. Это был тихий-тихий плач женщины, сдерживаемый огромным усилием воли, напоминавший слезы обиженного ребенка.

Ответив на вопросы, комендант выскочил обратно и, задержавшись под скальным козырьком над входом в тоннель, стал разглядывать небо. Немецкий разведчик, висевший с утра, скрылся в сторону залива, на северо-северо-запад. Повторных залпов не было.

Ясный солнечный день на берегу летнего моря, совершенно безразличный к происходящему, словно радовался самому себе. После артиллерийского налета стало как-то особенно тихо.

Не давая общего сигнала отбоя, Гайк пошел прямо через клумбы к остаткам павильона. Через пять минут вокруг разрушенного воздушного замка стояло кольцо молчаливых людей.

Появился старший врач в сопровождении сестры и санитаров с носилками. Появился старшина комендантской команды со своим воинством, вооруженным ломами и кирками для разборки развалин. Тут же оказались и машинистки и буфетчицы.

В общем понуром молчании кто-то сделал два-три неуверенных шага по кровле, но рывком отскочил обратно, смущенный железным грохотом.

Кто-то снял фуражку, склонив на грудь голову, и тогда все пилотки и даже докторскую шапочку как ветром сдуло.

Гайк, привыкший действовать в любых обстоятельствах, молчал, не давая указаний старшине, ожидавшему сигнала с ломом в руках. Комендант даже не снял фуражки, как все. Оцепенение сделало как бы слепым этого сильного человека. Наконец он повернулся к старшине и махнул рукой, призывая приступить к печальному делу разборки развалин, под которыми лежал майор.

Но не успел старшина с бойцами подойти к развалинам павильона, как вдруг изуродованная кровля зашевелилась.

Наступила секунда общего оцепенения. Все смотрели на большую пробоину в центре крыши. В пробоине медленно показалась белая голова, сперва одно, а затем другое плечо и,

наконец, весь торс человека, очевидно ставшего там, внутри, на ноги.

Это был как бы гипсовый слепок с майора.

Его сразу признали только потому, что в павильоне никого другого быть не могло. В лице у майора не было ни кровинки, но это лицо смущенно улыбалось.

Все поощрительно заулыбались ему навстречу, не решаясь поверить, что все обошлось. И в этот миг майор вдруг сильно чихнул.

Казалось, даже из-за шиворота у него брызнули фонтаны известковой пудры.

И тут наступила нервная разрядка — все захохотали. Хохотали долго, во всю глотку, как бы компенсируя себя за только что перенесенные тоскливые минуты.

Комендант первым взял себя в руки и вместе со старшим врачом, старшиной и санитарами осторожно извлек майора на свет божий, отогнув разорванные листы кровельного железа. Майора положили на носилки. И как только носилки тронулись, смех и громкие разговоры сразу прекратились. Доктор шел рядом с носилками, не выпуская пульса пострадавшего. А тот виновато и благодарно улыбался. Выяснилось, что говорить он пока не мог.

За истекшие четверть часа на КП было слышно только тоненькое женское всхлипывание. А затем, неожиданно и некстати, снаружи раздался громкий хохот нескольких десятков людей.

— Что они там?! Посходили с ума? — ни к кому не обращаясь, спросил командир базы и пошел к выходу.

Докторша торопливо захрустела гравием за его спиной.

Подойдя вплотную к контрольному посту и щуря глаза от дневного света, адмирал раскинул руки, упершись ладонями в необлицованные стенки узкого входа в тоннель. Он запирал выход для той, которая сейчас от волнения прерывисто дышала ему в левое ухо, стараясь разглядеть, что делается там, у павильона.

Общего отбоя еще не было, и никто не должен был покидать своих мест на КП. Кроме того, не было оснований считать, что старшему врачу нужна подмога, а командир базы не хотел выпускать докторшу с заплаканным лицом.

Вплотную, справа от адмирала, под скальным козырьком стоял часовой с автоматом на груди и, не обращая внимания на начальство, пристально смотрел в сторону бывшего воздушного замка, вокруг которого толпилось кольцо смеющихся.

Приглядевшись, контр-адмирал различил в центре прорванной кровли белую фигуру, вернее, бюст какого-то

человека — майор был жив!

В левую руку моряка, протянутую как шлагбаум, с силой вцепилась громко задышавшая докторша, но перекладина оказалась жесткой. Чтобы лучше видеть происходящее, женщина, протиснувшись, положила подбородок на этот живой шлагбаум.

В этот момент командир базы не хотел выпускать наружу младшего военврача не только потому, что ее помощь не требовалась. Нет! Теперь он не желал, чтобы на площадку вырвалась женщина, не владеющая собой от радости.

9

Вот, собственно, и вся история.

Майора увезли во фронтовой госпиталь. При разрыве снаряда он не получил ни одной царапины, но наглотался газов.

Конечно, всех заинтересовала механика спасения. Она оказалась совсем простой. Снаряд пробил клубную комнату и разорвался, успев зарыться в подполье. Взрывная волна взметнула легкую крышу вверх и, развалив все стены, посадила кровлю обратно. Одновременно взрыв повалил фанерную переборку, к которой был прикреплен большой библиотечный стеллаж. Томики Толстого, Горького, Шолохова и их собратьев, прикрыв майора, отдыхавшего на койке, приняли на себя осколки, летевшие в его сторону.

Майор лежал бы в этом укрытии и дольше, но почувствовал, что начинает задыхаться от газа, проникшего, через разрывы фанеры и половиц. Тогда, скатившись с койки, так как приподнять спасший его стеллаж он был не в силах, майор на четвереньках стал искать выход.

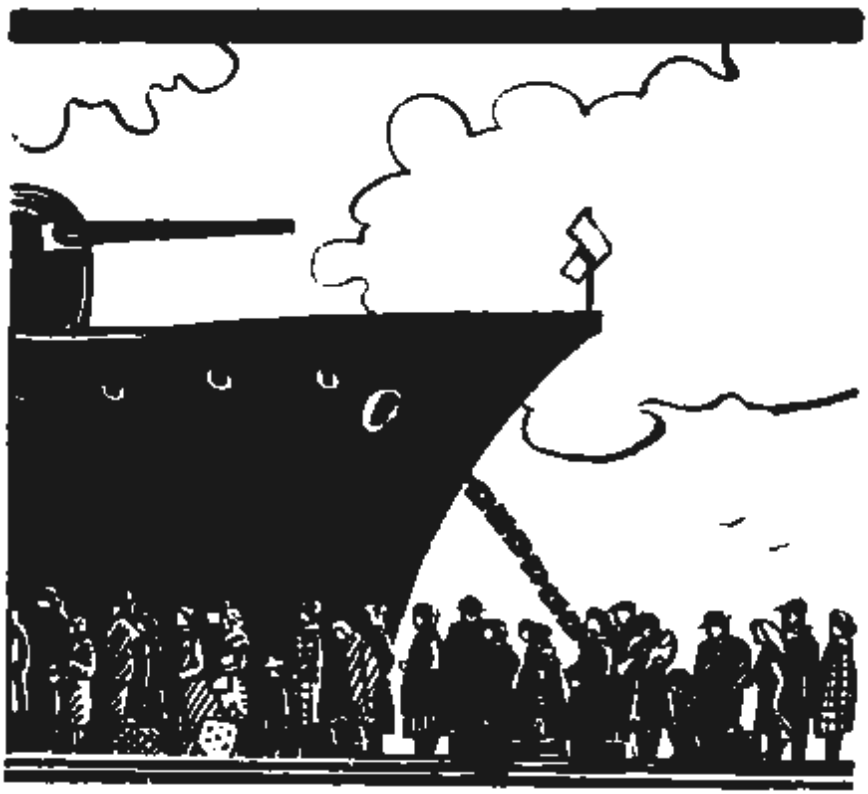
На высоте оказался кот, забытый при эвакуации санатория и живший в павильоне у майора. Взъерошенный и чихающий, он сразу же скрылся в нужном направлении. Разрыв крыши оказался почти рядом, и, с усилием отогнув рваный лист кровельного железа, майор оказался на свежем воздухе. Правда, только до пояса: дальше не хватило силенок.

О последующем известно только, что представитель ВВС, получивший среди друзей прозвище «Неистребимый майор», еще раз возвратился из госпиталя к работе, а так как вскоре пришла очередь автора путешествовать из одного госпиталя в другой, то он потерял своих героев из виду.

Да он и не делал попыток их разыскивать. Почему? Потому, что история с майором подтвердила, что если зло многолико, изворотливо и змееподобно, то, с другой стороны, несомненно,

что коллектив самых обыкновенных людей, объединившихся для того, чтобы общими усилиями, но скрытно делать доброе дело, — большая сила, способная в иных случаях не только облегчить жизнь и работу тому, кто в этом нуждается, но и поднять, облагородить и сделать счастливыми самих заговорщиков.

Две тысячи двести — и одна



1

Посадка

Внешне все оставалось обыденным и привычным даже в последние дни, когда фронт приблизился к окраинам большого приморского города, опоясав весь береговой район сплошной дугой радиусом в двадцать — тридцать километров, перерезав тем самым все наземные пути, оставив только сообщение по воздуху и морю.

Так же непрерывно доносились звуки отдаленной артиллерийской стрельбы, то утихавшей, то вдруг разгоравшейся вновь настолько сильно, будто фронт за несколько минут переместился вплотную к городу. Также часто и противно

визжали сирены ПВО и басили вторившие им гудки судов и заводов, после чего более отчетливо слышались хлопки немногочисленных зениток и запаздывающее жужжание моторов наших истребителей, временами переходившее в надсадный рев. Такими же пустынными и пыльными казались улицы города, включая идущие к порту, по которым изредка пробегали торопливые прохожие или проносились с бешеной скоростью военные грузовики и санитарные машины.

Все значительные передвижения боевых частей или транспортных колонн совершались ночью.

Вот почему, пожалуй, можно было считать необычным дневную погрузку большой группы людей, эвакуируемых из блокированного района и сейчас тянущихся двумя длинными очередями к крейсеру, стоящему у грузового пирса.

Действительно, подобный массовый вывоз семей вместе с малобоеспособными гражданами совершался впервые и привлекал внимание тем, что эвакуация осуществлялась на боевом корабле.

Что же касается крейсера, то, несмотря на то что он уже в третий раз с начала войны привлекался к подобной операции, в этот день на нем все казалось необычным. Хотя бы потому, что предстояло принять около двух тысяч пассажиров при общей численности экипажа немногим больше шестисот человек. Кроме того, приказание было получено неожиданно, когда на распределение и погрузку людей оставалось не более четырех-пяти часов, поскольку с наступлением темноты предполагалось уже выйти из гавани, с расчетом проскочить за ночь полосу блокадного дозора противника.

«Будь они… трижды… неладны!» (чуть не сорвалось — «прокляты!») — беззвучно произнес старший помощник командира и установил себя у нижней площадки кормового трапа, приспущенного на стенку для удобства пассажиров.

Именно установил. Как монумент. Не столько оттого, что имел атлетическое сложение и солидную должность, сколько потому, что окаменел от утомления и знал: на этом месте и в этой позе ему придется простоять не менее трех часов. А возможно, и больше.

…Знакомо ли вам состояние длительного, хронического переутомления и недосыпания?

Речь идет не о той острой и почти непреодолимой потребности повалиться и мгновенно заснуть в любом месте и в любом положении, потому что пришлось работать двое или трое суток на пределе сил, не имея возможности закрыть глаза хотя бы на минуту.

Нет… Речь идет о состоянии человека, которому хотя и выпадала возможность поспать урывками, но ни разу не удавалось ни отдохнуть, ни выспаться вдоволь в течение целого года! Ни днем, ни ночью… Скажем, с июня 1941 по август 1942 года. Все время в напряженной обстановке; часто — в походной, еще чаще — в боевой; почти без передышки и какого-либо подобия нормального покоя.

В этих случаях, помимо того, что все тело ноет (но замечаешь это только при перегрузках), в какой-то не своей голове постоянный шум (который замечаешь только тогда, когда подумаешь о нем), руки и особенно ноги с горящими ступнями кажутся налитыми тяжестью. В красных глазах — неуловимое мелькание, и, чтобы рассмотреть что-либо или расслышать, необходимо специальное усилие внимания и воли.

В подобном состоянии защитная реакция притупляет остроту внешних восприятий, тем самым экономя нервную энергию, и вынуждает многое, относительно привычное, делать почти автоматически.

…Вот в таком состоянии или близком к нему находился старпом крейсера, делавший разметку на квитках кандидатов к спасению от фашистской петли, выступавших по очереди к трапу из бесконечного ряда, тянувшегося во всю длину пирса. Конца очереди, загибавшейся за угол бетонного пакгауза, не было видно.

«Подумать только, старпом боевого корабля стоит у борта, как билетер, и принимает пассажиров, распределяя мамаш и папаш с их дорогими сорванцами по каютам и различным отсекам, которые Николай-чудотворец и морское ведомство создали отнюдь не для этой цели.

…Ну, допустим, что сейчас приперло, так как немецкие танки появились раньше, чем их ждали, и не с того румба… Очевидно, во время войны может появиться такая необходимость… ну на крайний, аварийный случай… Но ведь мы уже в третий раз попадаем в положение „скорой помощи“!.. И конечно, „экстренно“ в „последний раз“… или в том же духе!.

…А между тем более года идет война! И какая война!.. Когда каждый боевой корабль на счету, а на корабле каждый снаряд или торпеда на учете, потому что половина военно-морских баз и портов захвачена противником… со стороны суши, а от „юнкерсов“ только-только успеваешь отстреливаться… Впрочем, и их немало наломали наши зенитчики, но почему-то такое впечатление — сколько их ни отправляй к морскому подшкиперу, — назавтра опять налетают, не уменьшаясь в числе! И вот в этой обстановке, когда от очередных сообщений ТАСС на

душе муторно становится, изволь опять возить пассажиров… на манер не то извозчика, не то такси?! А кто же должен с немцами драться?

…Так и встает перед глазами рожа Пашки Овчинникова, который своим допотопным миноносцем в прошлый раз конвоировал наш крейсер с эвакуированными… А его балаган?.. Ехидно-почтительным голосом вопрошающего: „Скажите, товарищ капитан третьего ранга!.. А ваш крейсер плацкартный или без?..“

Бродяга! Ему хорошо… Почти с первых дней войны, не переставая, то в дозоре, то в конвое, то поддерживает высаженную морскую пехоту, то… говорят, будто даже в тральщики приспосабливали!

Удивительно… как только машины выдерживают?!

Конечно, если вспомнить, мы также в десанте адмирала Басистого не последнюю роль сыграли. Адмирала Владимирского внезапно „протолкнули“ в глубь берега. В драке за главную базу тоже не посрамили флотскую артиллерию… Но что все это стоит по сравнению с непрерывной боевой жизнью Пашки?.. Злость берет!»

В это время из-за угла элеватора, предшествуемый фанфарами собственной пьяной импровизации, вывалился огромный детина с рыжей копной на голове, в матросской тельняшке с большими вентиляционными отверстиями. Продолжая трубить и покачиваться до предельных положений, он поминутно широко раскрывал объятия, явно желая обнять весь мир. В одной руке рыжего была крепко зажата литровая бутыль, которой владелец размахивал для поддержания равновесия, причем с видом человека, убежденного в том, что без этого противовеса он непременно упадет.

Совершенно неожиданно для себя рыжий докер увидел обе очереди перед крейсером. Он замер внезапно в неестественной позе, даже удержавшись какое-то мгновение на одной ноге, и оборвал нечто вроде гимна самому себе на очень громкой и смачной ноте. Вслед за тем, почти тихо, но строго сказал, обращаясь к своей персоне: «Володя!.. Ша!..» — и буквально на цыпочках, пригнувшись, тихо-тихо удалился, неизбежно балансируя. Так выходят из затемненного театрального зала, чтобы не помешать другим, когда выяснилось, что вы попали не на ту пьесу.

Продолжения песни не последовало.

Возможно, что влияние этой очереди сказывалось дальше, чем она воспринималась глазом.

Отметка квитков шла своим чередом.

Организация посадки была четкой и безотказной. За левым плечом старпома стоял главный боцман. Если нужно было, он тихо подсказывал начальству, конечно только в порядке почтительного совета. Основной своей ролью боцман считал наблюдение за группой притаившихся под трапом рассыльных, которыми дирижировал, как вышколенным эстрадным оркестром, без слов, подбородком, бровями и скупыми движениями пальцев.

Рассыльные, исполнявшие обязанности своеобразных квартирьеров, выступали по одному, подхватывали очередной квиток и его владельца, помогали подниматься по трапу и провожали до помещения, отмеченного карандашом старпома. Если следующим гостем оказывалась дряхлая старушка, старик или молодуха, у которой не хватало рук на все ее ценности, живые и мертвые, то есть на ребенка и на «бебехи», — то их провожали сразу два морячка.

В ту сторону, на корабль, они шли, приспособляясь к темпу шага, доступному пассажиру. Обратно — летели пулей.

В этой части организация работала без перебоев.

Что касается общего размещения, то окончательно итоги должны были выясниться только к самому концу посадки. И этот предстоящий конец настолько смущал старпома, что он старался о нем меньше думать.

Беда заключалась в том, что никто толком не знал (и в условиях сложившейся обстановки, очевидно, не мог знать), сколько всего окажется людей, подлежащих эвакуации.

Первоначально на совещании у командира корабля речь шла о тысяче пассажиров. Но к концу разговоров из городского Комитета обороны подоспела записка на листке, вырванном из настольного календаря, которая гласила, что «уже выдано до полутора тысячи квитков» (как назвал председатель Комитета пропуска, так они и вошли — в эту историю).

Старпому, здесь, на пирсе, следившему, как наращивается хвост у очереди, было совершенно ясно, что выдача квитков продолжается и, возможно, будет продолжаться до момента отдачи швартовов. Между тем точных расчетов для размещения такого огромного количества пассажиров никто и никогда не делал, а рекорды двух ранее проведенных эвакуаций были уже далеко превзойдены.

«Лучше не думать!.. Как-нибудь разместим!»

Это не значило, что никакого плана посадки не было. Нет, конечно. Разметка делалась, исходя из сравнительного объема отсеков, палуб, кубриков, кают, но… нормы их уплотнения превосходили все официальные лимиты, так же как опыт прошлых походов, и, очевидно, могли быть обоснованы только

принципами теории относительности.

В бога старпом не верил. Черта поблизости не было. Поэтому, адресуясь куда-то в пространство, старпом, не останавливая разметки пропусков, которые ому протягивали кандидаты из очереди, продолжал про себя умолять кого-то в безличной форме.

«Разве я многого прошу?

…Только избавить меня от этого проклятого занятия! Не для отдыха и покоя! Не для повышения или орденов!

…Только бы немного еще пострелять по немцам!

…Только утопить несколько их кораблей и посбивать еще некоторое число немецких самолетов!..

…Только бы высадить десант на занятый фашистами берег и потом — крошить все и всех, до… до самого Атлантического побережья… сбросить в океан… и опять крошить!..»

Следует заметить, что для августа 1942 года мечты старпома были несколько нескромными. Ведь не случайно он участвовал в третьей по счету эвакуации, а не в генеральном наступлении. Но что поделаешь, если он твердо верил, что это наступление будет. И, даже не рассчитывая на союзников, убежденно считал, что оно закончится полной победой. Что делать, если он совершенно искренне жаждал боя? Причем не одного и легкого, показательного, а ждал и жаждал неизбежных упорных боев, кровавых и смертельных, так как за год войны понял, что с таким врагом иначе не может быть и не будет.

В этот момент подошедшая очередная бабка протянула квиток, взглянув на лицо начальника, от волнения споткнулась о собственный узел и чуть было не сыграла в воду. Хорошо — боцман подхватил!

«Чего она разволновалась? Стоят же остальные спокойно, как в церкви. Даже на очередь непохоже…

…Но откуда у старика боцмана такая прыть? Вернее, быстрота реакции?.. Ведь он, черт, старше меня годов на пятнадцать, а спит, наверное, не больше, чем я?»

Старпом стал еще мрачнее.

2

Очередь

Внезапно участилась стрельба береговых зениток, и хлопки пушистых разрывов на фоне белесого неба стали постепенно смещаться в сторону порта.

Вслед за тем, после отрывистых звонков и верещания

приборов стрельбы кормовых зенитных пушек, почти над головой старпома раздался лязг закрывающихся затворов. Не успел он додумать, что, пожалуй, придется временно приостановить погрузку, — хотя бы потому, что поднимающиеся по трапу проходили в пределах радиуса обметания бортовых зениток, — как хлестнул первый залп.

Задрав голову и разворачивая плечи, старпом пытался, не сходя с места, разглядеть, насколько близко прорвались немецкие самолеты. Однако борт крейсера заслонял для него район воздушного боя.

Почти безостановочно стали хлестать по голове и всему телу выстрелы противовоздушных калибров корабля, и медно зазвякали, катясь по палубе, стреляные гильзы. Но когда он обернулся, никакой очереди из пассажиров не оказалось. Она как будто испарилась. Или ее сдуло первым залпом?

Если же говорить точно, то полностью сохранилось и геометрическое и «вещественное» подобие очереди. Не было только людей. Очередь поддерживали, оставаясь на своих местах, чемоданы, мешки, баулы и корзины, владельцы которых осторожно выглядывали из ближайших щелей, вырытых на набережной, и из-за углов портовых строений и штабелей пакетных грузов.

То же самое произошло со второй очередью, стоявшей перед носовым трапом.

Инстинктивно втянув голову в плечи и глубже натянув фуражку, будто это смягчало молотьбу по черепу, старпом вспомнил, как несколько лет назад, выезжая утром из Керчи для осмотра берегового полигона, он с недоумением увидел подобную — «неживую» — очередь на окраине Багерово. Ее составляли бидоны, бутылки и канистры различных размеров, стоявшие цепочкой перед еще закрытой керосиновой лавкой.

К двери лавки с огромным висячим замком вело каменное крыльцо из трех ступенек, поэтому первые посудины, стоявшие лесенкой и возвышавшиеся над остальными, имели самодовольный, если не гордый вид — первых в очереди. Людей не было видно.

Благодаря всезнайке шоферу выяснилось, что этот своеобразный обычай соблюдается всегда, пока склад не открыт, или же в часы, когда очередь располагается на самом солнцепеке. В последнем случае хозяйки, обозначив свое относительное местоположение в пространстве бидонами, решают местные и мировые проблемы, сидя на тротуаре теневой стороны.

Но это воспоминание, возникшее по ассоциации, тут же было вытеснено досадливой мыслью:

«Какой болван приказал производить посадку в светлое время суток?.. Даже курсант должен знать, что сосредоточение к месту погрузки и размещение людей по транспортам (а чем мы сейчас не транспорт?) надо производить в темноте, с тем чтобы не раскрыть операцию! Зря, что ли, эти „юнкерсы“ все время пробиваются к порту?.. Наверное, давно уже аэрофотограмметрические фрицы проявили снимки своих первых разведчиков?! А ты тут стой как…»

Аккомпанемент к этим мыслям в виде почти слитного грохота скорострельных пушек не очень способствовал рассудительному и более спокойному мышлению, иначе старпом сам бы расписался под планом и сроками прорыва блокады, принятыми на совещании у командира военно-морской базы.

Тот же грохот заглушал свист и визг падающих осколков от зенитных снарядов. Вот почему никто из пассажиров, сидевших в щелях, не подозревал о плотности металлического дождя, дробно стучавшего по железным крышам портовых зданий.

Только оказавшиеся лицом к бухте с замиранием сердца наблюдали множество маленьких всплесков или фонтанчиков от обильно падавших шрапнельных пуль и осколков.

К счастью, несмотря на стальной дождь, на пирсе раненых не оказалось. Значит, недаром местная ПВО организовала рытье щелей и не зря для народа прошел опыт войны, длившейся уже более года.

Стрельба кормовых зениток оборвалась так же внезапно, как началась, хотя береговые батареи и остальные корабли, стоявшие в гавани, еще продолжали некоторое время вести довольно интенсивный огонь, как бы провожая отлетающих гостей, которым так и не удалось прорваться в глубину порта. Что касается очереди, то она изумительно аккуратно восстановилась сама, без каких-либо указаний или приказаний, причем через минуту после того, как крейсер прервал стрельбу.

И опять с утомительной монотонностью продвигался на шаг очередной старик с узелком, или мужчина с подвязанной рукой, или женщина с живым или неживым свертком. И опять, бегло проверив наличие штампа на обороте квитка, старпом ставил жирным цветным карандашом кабалистические знаки:

«I пал», или

«IV кубр», или «каюта мин», одновременно делая отметки в толстой тетради, сверяясь с примитивной схемой емкости жилых, и нежилых отсеков. Схемой весьма приближенной, потому что цифры, прикинутые совместно с боцманом всего два-три часа назад, брались на глазок с чертежей крейсера, так как обходить и обмерять вместимость всех неприспособленных помещений

времени уже не оставалось.

Незадолго до того горькую пилюлю золотили общими усилиями командир с комиссаром и секретарь парторганизации. Старпом вспоминал, стоя у трапа с каменным лицом, продолжая беззвучно терзаться:

«Слыхали уже и что ответственно, и что почетно, и что следует гордиться и т. д. и т. п… „Вот почему наиболее ответственную и трудную часть порученной нам задачи — прием и размещение пассажиров — я возлагаю на старшего помощника“… Разговоры в пользу бедных!

…Одно только дельное указание изрек комиссар: оповестить всю команду, чтобы не смели никого называть „беженцами“.

„Никто и никуда не бежит! А раз так, то нет и беженцев! Официально — „эвакуируемые“; уставной термин — „пассажиры“; но лучше — наши гости, друзья… что хотите, но не беженцы!..“ Это правильно!

…Но называйте как хотите, а что касается меня, то я говорю — с меня хватит!.. К чертовой матери!

…Довольно!.. Придем в базу — подаю рапорт о переводе хоть на тральщики. Хватит изображать необорудованный эмигрантский пароход или транспорт для раненых… тоже необорудованный!

…Ну взять хотя бы того же Пашку Овчинникова. Подумаешь — тоже мне Нельсон в молодости! Болтается помощником на старом „новике“, но зато в высадке адмирала Владимирского участвовал в первом броске!

…В высадке адмирала Басистого участвовал? Участвовал, подлец!

…Сколько раз мне приходилось до войны перечитывать „Зеебрюгскую операцию“, столько же раз я восхищался смелостью и хладнокровием британских моряков, не стесняясь, завидовал им. А Басистый высадкой с крейсера и миноносцев прямо в лоб, на портовый мол, утер нос англичанам! Да еще кому?.. Самому Реджинальду Кийсу! Да как!

…Даже сравнивать немыслимо, насколько наша операция была более дерзкой и в то же время — значительно большей по масштабу и трудновыполнимой.

…А результат? Там — пошумели красиво, лихо… и отошли, даже не закупорив полностью фарватер брандерами. А здесь? Захвачен не только мол, но весь порт и город! Создан новый участок фронта. Через сутки счет уже шел на дивизии; причем немцам пришлось оттягивать их с активных участков, даже от осаждаемого Севастополя.

…Там — диверсия, здесь — операция!

…Вот это — война!

…А этот ветрогон Пашка, видите ли, вылезал на стенку с автоматом на груди, вместе с первой волной морпехоты, хотя это абсолютно не было для него обязательным».

Как ни одеревенел и ни застыл от усталости старпом, но чуть качнулся от внутренней боли.

«А ты стой тут… как проводник… и компостируй билеты!! А? За что?..

…Нет! Чертовски не повезло с кораблем, да и должность собачья. Недаром так ее называют еще со времен парусного флота».

Как ни терзали сомнения старпомовскую душу, сознание продолжало работать по заданной цели. Поэтому, прервав отметку пассажиров на минуту, он на блокнотном листке набросал:

«Н. П. (инициалы военкома)! У меня прошел 7-сотый. Как у Вас? К.»

Разметка продолжалась. Очередь переместилась на один зубчик механизма посадки. Сложенная вчетверо записка помчалась в руке рассыльного вдоль борта крейсера.

Через несколько минут, не прерывая дела, старпом прочел одним глазом на обороте своего послания и передал через плечо боцману: «По носовому — прошел пятьсот пятидесятый. Увеличиваю темп».

«Ясно, — сказал себе старпом, — перекрываем прошлый рекорд! А сколько еще будет?..»

Глаза автоматически вскидываются на небольшой квадратик бумаги, потом — в раскрытый паспорт, потом — в тетрадь, не успев как следует рассмотреть очередного кандидата или кандидатку с живым приложением. Рука механически выводит: «Кубр.», «Лев. б.», «Прав. б.»… и тянется за новым пропуском. Уже два раза, к смущению боцмана и недоумению пассажира, начальство, отметив квиток, протягивало его не владельцу, а следующему в очереди.

Это сказывается утомление и монотонность работы.

Были даже мгновения, когда моряку явственно казалось, что вот этот старик, бабка с девочкой и молодуха проходят мимо него по второму разу. Совсем как статисты из полчищ Радамеса в «Аиде», циркулируя за сценой, бросают копья и хватают мечи, чтобы умножить род войск и их численность.

Эта аберрация — тоже от усталости.

Кроме того, проверяющий у трапа по молодости лет еще не знал, что большие, массовые несчастья, такие, как голод, наводнение, или землетрясения, или даже эвакуация, очень

нивелируют внешний вид людей и делают пострадавших схожими друг с другом.

Но было кое-что более тягостное.

Поймав себя на некоторых «заскоках», старпом одновременно вынужден был внутренне признаться, что в нем медленно накапливается досадливая неприязнь ко всем этим людям.

Не радовал, не щекотал самолюбие и тот факт, что вторая очередь, у носового трапа, за которой присматривал комиссар, продвигалась значительно медленнее.

Конечно, старпом не мог возненавидеть советских людей, да еще попавших в такую беду, хотя от досады он называл их уже (про себя) «квартирантами». Так казалось обиднее и для них… и для себя.

За год с лишним советский моряк вдоволь нагляделся на им подобных, причем в самых различных вариантах мучительных положений и страданий, и где мог и сколько мог помогал и выручал из беды, не щадя себя.

Кроме того, сам старпом последнее письмо от жены и дочки получил со штампом «Минеральные Воды» свыше трех месяцев назад… А кто скажет, где они сейчас?..

Вот почему он знал, кого надо ненавидеть и за что, и действительно ненавидел холодной, неистребимой ненавистью, казалось, до конца жизни.

А все же эти пассажиры, отвлекающие его от прямой борьбы, от боев на коротких дистанциях, вызывали досаду и неприязнь… хотя бы даже тем, что нельзя было ни к чему придраться.

Действительно, старпом, вспомнив два-три прошедших часа и осмотрев хвост очереди (как раз последние кандидаты на эвакуацию показались из-за элеватора), одновременно с удивлением признался самому себе в том, что действительно (только сейчас дошло!), очередь какая-то странная и необычная и что нет ни милиции, ни портовой охраны.

Помечая очередной квиток, он припомнил, как первоначально предполагалось выделить наряд матросов для наблюдения за порядком. Как обрадовалось портовое начальство, когда узнало, что крейсер берет наблюдение за эвакуируемыми на себя. Но очередь оказалась настолько спокойной и организованной, «будто проходили предварительные учебно-тренировочные занятия» — съехидничал моряк в помыслах.

Наряд пришлось ликвидировать. Его передали на увеличение числа рассыльных, которых стало недоставать, когда время проверки у трапа удалось сократить почти вдвое. А за счет чего? За счет доверия именно к этим самым людям, поскольку за три или четыре сотни первых разметок не было ни одной ошибки или

попытки обмана.

Помимо идеального порядка, который никто не поддерживал и не регулировал, на пирсе была неестественная тишина. Никто не разговаривал, разве только шепотом, да и то скупо, односложно.

Даже дети, очевидно под впечатлением общего настроения и особой атмосферы, притихли и, прижимаясь к старшим, не подавали голоса.

А между тем ведь эти люди получили возможность уехать из угрожаемого района почти из-под пушек и из-под непрерывных бомбежек. Каждый квиток если не был пропуском в бессмертие, то по крайней мере — допуском на продолжение жизни, которого не получишь по бюллетеню ни в одной поликлинике. Причем эти люди сами видят, что отъезжающих накопилось больше, чем можно разместить, и что времени до выхода в море оставалось в обрез.

Что это за люди, если в подобных условиях нет ни давки или суеты, ни нетерпеливых выкриков, ни спешки, ни попыток обойти друг друга?.. Почему при такой многоликости и разнообразии биографий случайно скопившихся здесь индивидуальностей создалось такое единство в оценке событий, включая отношение к происходящему на этом пирсе?

Ну, будь они спаявшимися на одной работе и в совместном быту, когда семьи близко знают друг друга и настолько привыкают к порядку, что законы общежития не стесняют, а делают жизнь радостнее и красивее. Но ведь здесь, на портовом причале, редко кто с кем знаком; тут же томятся транзитные, даже из других республик.

Бывалая корзинка, перетянутая веревочкой, стандартные чемоданы «под фибру», а иногда кожаный баул на молнии с ярлыками иностранных отелей свидетельствуют о различии материального состояния владельцев., От пенсионерки — артельной стряпухи и внепенсионной домохозяйки — до семьи предрайисполкома, глава которой остался в городе. От престарелого мастера до директора свернутого производства, переводимых в глубь страны на завод-дублер. Или позади почтенного совслужащего — отставной генерал, забывший год окончания академии Генерального штаба, но очень гордый тем, что, начав заново службу в 1918 году, уволен в отставку комбригом с одним ромбом. Рядом с ним молодой научный работник, доцент с рукой на перевязи, демобилизованный «по чистой», ополченец, так и не достигший звания ефрейтора, а получивший после первого боя «инвалида 2-й группы» из-за пересеченных сухожилий предплечья.

Все возрасты, профессии, положения и состояния…

Коммунисты (их немало) и беспартийные (которых намного больше). Кого нет вовсе — так это комсомольцев; это, пожалуй, понятно.

Ни одного провожающего. Или некогда, или некому.

«Да… действительно, какая-то странная очередь…»

Очевидно, суть этой необычности заключалась в том, что эвакуируемые, продвигаясь в минуту всего на один-два шага, тем самым приближались на один-два шага к спасению самого дорогого — детей, а с ними отцов или матерей.

Они не торопились. Больше того, в душе никто из «местных» не хотел уезжать, потому что оставлял не менее дорогое: мужей, братьев и сыновей в окопах, на батареях и аэродромах, защищавших родной город. Покидали свои фабрики и заводы, на которых работали годами, причем не порознь, а спаявшимися коллективами. Наконец, потому, что оставляли дома, в которых родились, вырастали, любили и рожали сами и в которых умирали их старики.

Не так-то легко покидать, хотя бы на время, все то, что охватывается понятием — родная земля. Даже тот ее оплаканный уголок, на котором остаются могилы предков. А еще тягостнее и горше, когда это часть советской земли и особенно если где-то в тайниках души прячется опасение, что над этим кусочком Родины могут надругаться ненавистные оккупанты. Впрочем, о такой возможности никто не упоминает вслух.

Они не спорили, а помогали друг другу, потому что попали в беду. Они не суетились и были спокойны, потому что верили морякам, в чьи руки вверялась их жизнь и будущее их жизни. Корабль, названия которого они еще вчера не знали, под этим флагом олицетворял для них родное государство, и все, что делалось вокруг, воплощало волю родной партии.

Молча, стараясь производить возможно меньше шума, делали они очередной шаг к крейсеру и осторожно, переставив свои скудные пожитки, терпеливо ожидали следующего шага.

Разве наряд милиции, матросов или портовой охраны мог повлиять на эти чувства, сознание и веру?

«Ну хорошо. А почему они так мало разговаривают?.. Очевидно, тяготит и пугает неизвестность и опасность перехода морем? Но тогда почему совершенно замолкают, еще не приблизившись к трапу за кабельтов?

…Не хотят мешать? Отвлекать меня от работы?! Так? Допустим.

…Но почему такие настороженные взгляды исподлобья?»

Наконец дошло… и помимо многого другого старпом через

два с лишним часа понял, что его мрачный вид нагоняет на всех тоску. Это открытие не очень обрадовало прозревшего.

Он сознавал, что в подобных обстоятельствах люди ждут ласкового, бодрого слова, особенно от командования, знающего обстановку и ответственного за благополучие плавания, за успех похода.

Сознавал… но не мог пересилить своего настроения.

Почему?

Потому — он так же ясно это сознавал, — что перегруженный крейсер с каждым новым пассажиром теряет частицу своей боеспособности и что чем больше спасаемых, тем меньше он (и весь экипаж корабля) сможет оказать им помощь в критический момент.

3

Небольшая деталь

Из числа шести с лишним сотен человек, составлявших команду крейсера, оказалось, что у некоторых семьи жили в этом приморском городе или застряли в нем во время эвакуации из главной базы флота, осаждаемой вражескими войсками.

Вот почему два или три раза за время посадки происходили (в обеих очередях) такие мимические сцены.

Стоит специалист или старшина глубоко во чреве корабельной кочегарки, напряженно следя за показаниями манометров или водомерных стекол, четко манипулируя нефтяными форсунками котлов и клапанами питательных насосов. Если выбрать место поближе к турбовентиляторам, то создается ощущение прохлады, но зато грохот такой, что объясняться можно только мимикой и жестами. А чуть отойти в сторонку — попадаешь в теплые закоулки, или «мешки», сразу напоминающие тропики.

И несмотря на то, что кочегарное отделение расположено под ватерлинией, а следовательно, ниже пирса и отделено от него бортовой броней, многими переборками и отсеками корпуса, — сюда, как по беспроволочному телеграфу, доходит точная информация из окружающего мира.

— …Крастин! Твоя маруха на стенке, с дочкой и бебехами, в кормовой очереди… давай пулей, а я пока присмотрю!

Еще через минуту на верхней палубе появляется моряк в синей робе, местами черной от пота, не выпускающий кусок промасленной ветоши, зажатой в кулаке. Другой рукой кочегар

делает «привет» своей жене и дочке, стараясь бодро улыбаться, всем своим видом демонстрируя, что все в порядке, а он лично — даже в великолепном самочувствии.

И только его друзья и всевидящий боцман понимают, что счастливый глава семейства не приближается к поручням, умело занимая позицию в глубине, — с расчетом не попасть в поле зрения старпома.

За те же краткие мгновения две пары глаз с причала впиваются в дорогое лицо, фигуру и весь такой знакомый и родной облик и, почему-то стесняясь соседей в очереди, натянутыми полуулыбками, не то печальными, не то радостными, стараются ответить своими безгласными приветами и подчеркнуть, что не только живы и здоровы, но и что счастливы видеть его… и гордятся им, несмотря на замасленную спецовку и кусок обстрижки в руке.

Когда кочегар исчезает, так же скоропалительно, как появился, стоящая впереди матросской жены пассажирка без тени зависти, с благожелательной теплотой говорит:

— Счастливая вы! Ну идите!..

При этом она отодвигается в сторону и прибирает свой баул, чтобы пропустить «счастливую» на корабль.

Но на это доброе предложение следует такое недоуменное поднятие бровей и такая решительная реплика: «Как можно?!», что соседка с баулом делает обратный ход.

Она не совсем разобралась, почему здесь такие порядки, но по интонации счастливицы поняла, что к этому вопросу возвращаться бесполезно.

Конечно, это только небольшая деталь из общего процесса долгой и томительной посадки. Возможно, что в очереди у носового трапа, а в аналогичных случаях в кормовой, подобные сценки протекали иначе. Но во всех случаях они заканчивались одинаково: «Как можно?!»

4

Батальон-дивизия

На этой своеобразной арене, которую представлял из себя грузовой пирс торгового порта, где, последовательно сменяясь, разыгрывались сцены большой человеческой драмы, начиналась новая интермедия.

Час назад никто не придал значения, когда на борт крейсера поднялся армейский офицер и был проведен на мостик, в

походную каюту командира.

Минут через двадцать старпом, приостановив очередь, развернул и прочел про себя записку, доставленную ординарцем с мостика.

«Только этого не хватало!» — подумал старпом и, передав через плечо записку боцману, протянул руку за следующим квитком.

Такая задержка не вызвала никакой реакции, так как длилась всего две-три минуты, а по лицу старпома догадаться о чем-либо не представлялось возможным.

Но еще через полчаса стоявшие в очереди замерли и тревожно насторожились.

Неожиданно для всех, исключая старого боцмана и его невозмутимого шефа, со стороны города донесся знакомый и ставший привычным с первых дней войны слитный топот тяжелых солдатских сапог. А вслед за тем на пирс (двигаясь по так называемому пожарному проезду) вошла колонна армейцев, предшествуемая командиром с палочкой в руке. Если бы не она, вряд ли кто-либо заметил его легкую хромоту.

Майор, обернувшись, что-то прохрипел, и воинская часть остановилась, как бы обмякнув, причем показалось, будто все солдаты вдруг уменьшились ростом.

Еще два-три слова команды, и колонна потеряла вид сомкнутого строя, растекаясь в небольшую толпу.

Теперь между двумя вытянутыми очередями гражданских людей стояла в вольных позах группа военных.

Батальон не батальон, а что-то вроде половины. Запыленные и потные, в выгоревших пилотках и застиранных гимнастерках, с залатанными шароварами и стоптанными сапогами. Кое у кого просвечивали бинты. Другие знаки различия или отличия, включая гвардейские, сразу не бросались в глаза из-за мятого обмундирования, тем более что все, независимо от рангов, были одинаково сильно пропылены и утомлены.

Непроизвольно в голову лезла мысль, что внешнее представление о гвардии меньше всего отвечает данному случаю и что бодрое настроение и четкий шаг были организованы недавно, за последним поворотом дороги, а теперь все это выдохлось. «Да и ни к чему, раз прибыли к пункту назначения… И между прочим — утомившись до крайности».

Вторая мысль, появившаяся у наблюдавших со стороны, — что эти воины устали не сегодня или вчера, а уставали в течение долгих месяцев войны. Это обстоятельство лучше, чем другим, было понятно старпому.

Еще через минуту прояснилась другая внешняя особенность

этой воинской части, очевидно бывшая главной причиной смущения и мрачности бойцов. Батальон был без оружия и какой-либо амуниции, но в первый момент это как-то не бросалось в глаза.

Даже в баню маршируют с узелками, а тут… ничего. «Разве что у майора — палка, а у адъютанта — сумка».

Немолодые, опытные солдаты, раненые и перераненные, но еще относительно крепкие, они чувствовали себя как бы раздетыми. «Вроде как голые перед народом».

Непривычное, тягостное состояние усугублялось неловкостью из-за очевидности того, что их также направляют в тыл вместе с женщинами и детьми, в то время когда город находится в явной опасности.

Вот почему они молча и понуро стояли в самых разнообразных позах, стараясь не смотреть в лица эвакуируемых и матросов.

Молчала и очередь.

Но в ней, хотя и без заметного обмена мнениями, возникла затронувшая почти всех тревога, перераставшая в мучительное беспокойство.

— А вдруг оставшихся на пирсе не возьмут?

— Ведь на корабле и так полно!..

— Конечно, солдат в первую очередь!..

Майор с тростью, опять превратившись в относительную тугую пружину, немного вырос и, подойдя к старпому, четко откозыряв, представился:

— Командир Энской гвардейской стрелковой дивизии майор Соколов. Прибыли на посадку…

При последних проглоченных словах он отогнул рукав гимнастерки и, оголив циферблат ручных часов, одновременно проверяя себя и подтверждая моряку, показал, что прибыли они точно в «ноль-ноль», в соответствии с приказом командарма, назвать которого при посторонних он не счел возможным.

Затем, взяв пакет у адъютанта, стоявшего поодаль, протянул его старпому.

— Я извещен… Но, к сожалению, кроме верхней палубы, ничего предложить не могу…

— Устроимся!

Боцман, из-за плеча своего начальства, почтительно добавил:

— Тентов и брезентов предоставим, опять же и маты…

— Ну, тогда отлично расположимся! Благодарю!

— Ой не говорите… хоть и лето — в море прохлада ночью бывает…

— Боцман прав! К тому же, я вижу, ваши бойцы даже без

шинелей!.. Вы извините меня (понизив голос до конфиденциального регистра, старпом продолжал так, что дальнейшую беседу слышали только боцман и ближайшие рассыльные под трапом), но я не понимаю двух обстоятельств… В бумагах сказано, что направляется дивизия, а я вижу двести пятьдесят — триста человек… И второе — очень уж вы… налегке.

— Вы абсолютно правы!.. Разъясняю! Отправляется, так сказать, номер дивизии и кадры ее ветеранов-гвардейцев… для восстановления. Часть органов управления с одной ротой уже на месте, со знаменами (с которыми идем от самого Бреста) и с документами о назначениях, перемещениях и с наградными листами. А вооружение, техника и снабжение — так же как и новые пополнения — уже подготовлены управлением резервной армии и тыла.

И, переходя на простой товарищеский тон, как бы сознаваясь в своей слабости, майор добавил:

— Что задержались — это верно; но я уговорил начальство повременить дней пять-шесть, чтобы собрать побольше своих: отставших, выздоравливающих из госпиталей или приблудившихся к другим частям… И вот видите — какую силу мы с военкомом собрали!

Только теперь скромно сделал шаг вперед и откозырял один из многих, который отличался, может быть, только шпалой со сбитой эмалью и марлевой повязкой под пилоткой.

Майор полуобернулся, приглашая полюбоваться на своих витязей. И хотя только стоявшие поблизости и слышавшие этот необычный разговор солдаты подтянулись и приняли почти внушительные позы — общий вид гвардейцев явно не импонировал бы фото- или кинокорреспондентам.

Но майор этого не понимал.

У него на глазах были чудесные и невидимые очки, через которые изможденные воины — все вместе и каждый в отдельности — явственно представлялись чудо-богатырями.

Эти очки называются «опытом боевого товарищества». Только через них можно видеть подлинную красоту духа бойцов и командиров. И тем хуже для тех, кто не может без них заглянуть сквозь загар и запыленную гимнастерку (так же как и сквозь замасленную тельняшку).

Большинство из бойцов, у которых во внутреннем кармашке была приколота красная книжечка, майор знал в лицо без всяких очков, еще со времен тяжелых боев на Днепре, затем у Миллерово и позже — под Ростовом.

Ни старпом с боцманом, ни сам майор с военкомом, ни один человек на пирсе или на крейсере не представляли, как много вот

этой стрелковой дивизией-батальоном было сделано для будущей победы.

Каждый, повседневный, даже самый малый успех, в виде прошитого из автомата фрица, продырявленного танка или вколоченного в землю самолета, неуклонно, как само Время, уменьшал не только численный состав сил и средств наступавших оккупантов, но одновременно увеличивал в них растущий страх за будущее. Где-то в книге судеб — вернее, в военной канцелярии Истории — велся подробнейший счет материальным и духовным потерям, которыми одураченные фюрером немцы расплачивались за видимое приобретение обширных земель на Востоке. И против каждой графы — обстоятельный счет накапливаемого горя, ненависти и средств противодействия у подлинных хозяев этой самой земли. Одни увеличивали число березовых крестов на солдатских кладбищах и число дивизий у себя в тылу для борьбы с партизанами, другие накапливали резервы и волю к победе.

Эти гвардейцы стеснялись, что не имели оружия, но у многих, либо в поясе шаровар, либо в подобии ладанки на груди, либо просто в кисете была щепотка земли или осколок камня от стен Киева, или Одессы, или Севастополя, куда хранивший эту священную памятку еще должен был вернуться.

— Перед самым отбытием ваш адмирал, командир военно-морской базы, предложил все наше оружие и снаряжение сдать для местных формирований. И хотя кое-что шло против устава, командарм разрешил… Не увозить же в такой момент с собой триста автоматов, шестьсот дисков, тем более что мы скоро вернемся с новеньким хозяйством! Ну, а ребята, когда поняли, так чуть ли не ремни и кисеты стали передавать ополченцам. Задали военкому работу — чтобы не перегибали!

— Теперь все ясно, — сказал старпом.

— Думаю, что не совсем!.. По совету вашего адмирала, мы взяли с собой походную кухню с принадлежностью и продовольствием. Я их оставил за элеватором…

— Ну что ж, это значительно облегчит нашу задачу с питанием пассажиров.

Переходя на официальный тон, старпом громко, в расчете, чтобы слышали в очереди, сказал:

— Прошу рассредоточить людей. Поставьте жалнера… или как там по-вашему. Лишь только пройдет последний гражданин, давайте ваш бат… вашу дивизию — цепочкой на верхнюю палубу. Боцман укажет размещение и займется вашим багажом!

— Есть!

После нарочито громогласных указаний от трапа к концу очереди пробежали улыбки, вздохи облегчения и слова

сдерживаемой радости. Спустя еще две-три минуты эвакуируемые давали солдатам прикурить; кто-то предложил подшить пуговку; молодая мать уговаривала кого-то из солдат подержать дорогого ей младенца, а солдат вдруг растерянно спрятал руки за спину, так как руки его отвыкли от всего, кроме винтовки и гранат.

Процесс братания мог нарушить налаженный порядок, если бы по команде «рассредоточиться» солдаты не стали расходиться и исчезать в закоулках и щелях, под брезентами грузов и катушками кабелей, демонстрируя смысл «защитного цвета обмундирования» и длительного опыта врастания в любую местность.

Как будто по заказу, в бессчетный за день раз завыли сирены и возобновились хлопки дальних зениток.

Опять наступила напряженная пауза, и после звонкого лязга закрываемых затворов на пирсе установилась мертвая тишина. Однако на этот раз не успели пассажиры двинуться к убежищам, как в большой корабельной трансляции раздался спокойный и властный голос:

— Погрузку не прерывать!.. До начала огня.

Кто-то где-то следил за обстановкой и знал — кому, когда и что надо делать.

Крейсерские зенитки огня так и не открывали. Нараставший воздушный бой, где-то в направлении на северо-запад, достиг самой высокой силы, а затем начал спадать, постепенно удаляясь от порта к горам.

5

Появление пастушки

Опять необычная очередь продолжала передвигаться безмолвно и методично.

Снова назойливо возникал в памяти облик не дающего покоя капитан-лейтенанта Овчинникова.

Но вдруг старпома будто подхлестнули изнутри. Мозг оцарапало слово «жесть».

«Ну, относительно двадцати старых мастеров („золотой фонд шампановедов“) с семьями — куда ни шло… Наверное, давно прошли мимо или по носовому трапу. Но вывозить пятнадцать тонн импортной консервной жести с фруктово-овощного комбината?! По телеграмме Микояна?! Подумать только, это боевому крейсеру?! Тут бои идут… и какие! Можно сказать, от одной авиации податься некуда! А ты на крейсере консервную

жесть перевози? Все равно, что она какая-то редкостная! Нет, это даже не легковой извозчик, раз поклажу грузить надо… Это… это… уже — верблюд!»

Между тем очередная мать, сделав последний шаг к трапу, перекладывая ребенка на другую руку, торопливо протягивала квиток и, подобрав небольшой чемоданчик с притороченной к нему подушкой, выжидающе-взволнованно заглядывала в каменное лицо уставшего человека, чтобы через пятнадцать секунд спеша уступить место старушке или старику, не с баулом, так с корзиной, если не с девочкой, то с мальчиком, а то и с двумя сразу.

«Довольно дурака валять!.. Вот придем — подам рапорт!»

Это стремление, возникшее у старпома в начале посадки, стало настолько острым, что казалось открытием, впервые пришедшим в голову.

«К чертовой матери… изображать из себя верблюда!»

Очевидно, эта неприятная мысль настолько досаждала, что старпом не заметил, как громко выбросил «верблюда» прямо в лицо ошарашенной женщине, в страхе прижавшей к груди драгоценный пакет. Еще больше она смутилась, когда выроненный от неожиданности квиток, как опавший кленовый листочек, легкомысленно болтаясь короткими галсами, упал в воду, через узкий просвет между стенкой и бортом крейсера.

Понимая, что сам виноват, старпом сиплым голосом произнес:

— Извините… это ничего… Боцман! В каюту старшего минера!

Обходя старпома как-то боком, женщина безмолвно смотрела на эту угрюмую маску, искренне обеспокоенная за него, за этого моряка с налитыми кровью глазами.

Боцман помог ей сделать первые шаги на трапе, а дальше проводили два очередных рассыльных. Но если до этого случая старпому было муторно и досадно, то теперь стало еще противнее.

— И вообще… всех, кто с детьми, — по каютам! В кают-компанию и в ленинский уголок!

«Ошалел! — подумал боцман. — С самого начала это решено и указано. Кроме того — сам же размечает! Обратно ошалел!»

Уже прошли и отметились многие старики, два или три нестарых мужчины с марлевыми повязками, пахнущими госпиталем, и немало женщин с детьми, а тягостное ощущение от случая с упавшим пропуском не исчезало.

«А все-таки… не мое это дело!» — методично повторял про себя старпом в такт медленному продвижению людей, размечая

их пропуска. Однако эта фраза не утешала и не успокаивала, хотя бы потому, что разметка была его делом.

Так же подсознательно чувствовал он, что неправ и в вопросе о жести, но думать об этом не хотел. А между тем что стоило крейсеру водоизмещением в 7500 тонн взять на борт пятнадцать тонн особо дефицитной жести, купленной в США почти что на вес золота? Не оставлять же такой подарок немцам!

Кроме того, в предыдущие походы возили грузы и более тяжелые и более неожиданные.

«…Но почему меня боятся?

…Правда, я вас не обожаю, но ведь и не бросаюсь как тигр?

…Очевидно, моей физиономией детей пугать можно… Впрочем, что там детей, когда взрослые шарахаются?»

Суровая, не по возрасту, маска как бы въелась. Она была принята нарочито, давно, когда под его команду попали опытные моряки, и попытки поучать их самому же казались недостаточно убедительными. Да они и не были убедительными, почему (восполнялись императивным тоном, официальной позой и лаконичным жестом.

Позже на крейсере два дружка-однокашника, с которыми еще вчера мальчишествовал на воскресном приморском бульваре, оказались в его подчинении. В первый же вечер он отказался с ними «проветриться на поплавке», заперся в каюте, а наутро к подъему флага вышел, как самому казалось, повзрослевшим на несколько лет, в защитной броне от возможной фамильярности приятелей.

Прошло время, накопились знания и опыт, появилась уверенность в своих силах, так что сверхкомпенсация стала ненужной. Но, к сожалению, куда-то улетучилась дружеская непринужденность отношений бывших «трех мушкетеров», а ставшая обременительной маска уже въелась, застыв на лице, пожалуй, необратимо.

Война и хроническое утомление еще тверже зафиксировали эту личину.

Хорошо бы только ее. Прислушиваясь с годами к себе, старпом заметил, что нельзя непрерывно носить какую бы то ни было маску безнаказанно. Как ни трудно сознаться (даже самому себе), некоторые признаки подсказывали, что исподволь, незаметно строгость трансформируется в сухость, молчаливость — в нелюдимость; черствеет не только лицо, но и сердце; завядают не только легкомысленные, но и серьезные чувства… и наступает день, когда улыбнуться не только трудно, но и пропадает сама охота, потребность улыбаться.

Сейчас, стоя в качестве автомата, отмечающего квитки, с

красными от бессонницы глазами, он многих отпугивал молчанием и мрачным видом и даже наводил страх. Впрочем, некоторым, наоборот, внешность старпома внушала спокойную уверенность. Для этих относительно немногих людей он являлся как бы олицетворением твердой организации и строгого порядка на корабле.

А в это время твердокаменного моряка невидимо терзали острые и тяжелые мысли, и никакая защитная реакция не могла уберечь его от самоистязания. Вот почему по сути это был не бесчувственный монумент, а сосуд, до краев заполненный душевной горечью и сознанием ответственности за судьбу более двух тысяч советских людей, в условиях, представлявшихся старпому исключительно неблагоприятными.

Такое напряженное состояние имело свои истоки.

Дело в том, что после благополучного завершения предыдущей эвакуации осажденного города-порта старпом поспешил в морскую библиотеку. «А если бы фашисты обнаружили крейсер и пришлось открывать огонь? А если бы пассажиры были набиты как сардины в консервной банке и, кроме того, загромождали бы верхнюю палубу?»

Старпому пришлось изрядно порыться, так как выяснилось, что систематизированные материалы об авариях относились только к временам парусного флота, как будто с введением паровых судов кончились катастрофы на море.

Перелистывая журнальные описания гибели «Титаника» в 1912 году, с сенсационными картинками, запомнившимися еще с детства, на которых офицеры с револьверами в руках отгоняли обезумевших пассажиров от спасательных шлюпок, старпом почувствовал, как шевелятся волосы на голове. Оказалось, что после злополучного «Титаника» всего через два года погиб английский лайнер «Импресс оф Ирелэнд», потащив за собой на дно Атлантики 1923 человека! А еще годом позже американский экспресс «Эстланд» похоронил в своих отсеках 825 пассажиров и членов экипажа.

Самым потрясающим открытием было то, что ни одна из этих катастроф не явилась следствием боевых действий. Во всех трех случаях не удалось спустить все шлюпки и использовать спасательные средства, так как основным врагом людей оказалась не стихия моря, а стихийность человеческой *паники*, умноженная темнотой и необычной для пассажиров обстановкой.

Подобно тому как в горящем кинематографе или театре большинство людей погибает не от огня, а оказывается затоптанными в узких проходах, так и на кораблях неизбежно образование живых человеческих пробок — на трапах и в люках.

Но если на суше вырвавшиеся из аварийного помещения находят спасение, то на крейсере сумевшие выскочить на верхнюю палубу попадают под огонь не только вражеских, но и своих пушек… И это не все, так как очень часто после бесплодной борьбы их ожидает ненасытная глубина моря. Ведь на боевых кораблях нет спасательных шлюпок и очень редко можно найти достаточное число плотиков, поясов или жилетов.

Только на деках коммерческих судов обязательно имеется это хозяйство, причем в количестве, достаточном абсолютно для всех пассажиров при условии, что с ними вместе не путешествует паника, до времени скрывающаяся в темных закоулках кают и души.

«А что произойдет, если крейсеру придется резко маневрировать и вести огонь с обоих бортов, при необходимости отражать атаки вражеских подлодок или торпедных катеров и уклоняться от выпущенных ими торпед?

Ведь один только грохот собственных орудий, резонирующий в стальных коробках закупоренных кубриков и отсеков, может непривычного свести с ума. А если в такой момент коробка станет наклоняться?.. А если при этом еще погаснет свет?..

…К черту!.. Все равно всех возможных „если“ не пересчитаешь!»

Много часов ушло на раздумья и прикидки, на советы с комиссаром и боцманом, прежде чем к нынешнему походу командир утвердил расстановку самых крепких партийцев старшинами пассажирских помещений, несмотря на ожесточенное сопротивление командиров боевых частей. Отобранные оказались лучшими хозяевами машин, станций или артиллерийских башен.

Были выработаны жесткие правила, запрещавшие пассажирам ходить из отсека в отсек. Были выключены в кубриках отдельные сигналы, колокола громкого боя и репродукторы корабельной трансляции, с тем чтобы некоторые командные фразы, возможно непонятные для посторонних, не доходили не по адресу. Пересмотрели систему освещения и вентиляции помещений и многое-многое другое из того, что может подсказать коллективный разум и коллективный опыт людей.

Казалось, было предусмотрено все, что в человеческих силах. Кроме того, успокаивало сознание выполняемого долга, продиктованного крайней необходимостью.

И все же, стоя у трапа, почти заканчивая ответственную часть посадки, старпом продолжал мрачно упражняться в примерах формальной логики:

«Чем больше людей стараемся спасти, тем больше шансов не

спасти ни одного и пойти самому на грунт вместе с ними. (Впрочем, последнее абсолютно не смущало, так как не только было неизбежно, но и являлось наиболее логичным со всех точек зрения.)

…Ведь когда рассчитывали погрузку, то предполагали, что будет, как в прошлый раз. Сейчас же степень перегрузки такая, что, даже стоя в гавани, двух суток прожить нельзя. Вентиляция и другие устройства не справятся.

…Чем больше квартирантов, тем больше шансов на панику, на ее масштабы, на степень духовной слепоты и взаимного взвинчивания. Но даже если все пассажиры будут вести себя безукоризненно, никакая борьба за живучесть корабля невозможна, включая борьбу с пожарами или работу по исправлению коммуникаций, проходящих через густонаселенные отсеки.

…Когда планировали, верхняя палуба была чиста. Сейчас — или откажись стрелять по фашистам, или гвардейцев дивизии покалечит и сдует за борт… А меж тем только искусное отражение атаки дает шанс на успех спасения…»

К этому времени, скашивая глаза, старпом заметил, что наконец-то из-за элеватора появился хвост очереди.

«Слава аллаху! Как будто больше жильцов не предвидится».

Но это открытие зарегистрировалось в вялом мозгу как-то бесстрастно, потому что он был убежден, что критический пик перегрузки уже давно пройден.

Не прерывая разметки пропусков, он неожиданно заметил, что очередь у носового трапа также показала свой конец. Оказалось, что запоздавшие пассажиры, вбежав на пирс, быстро оценивали на глаз положение вещей и примыкали к более короткой очереди. Так они уравнялись.

«Ладно! Все одно!..»

В ту же минуту из-за угла пакгауза стремительно выбежала женщина с чемоданчиком, прижатым к груди, волочившая другой рукой девочку, не успевавшую перебирать ножками. Два-три раза качнувшись то влево, то вправо, она наконец решительно помчалась к кормовой очереди.

Молодая мать, напуганная возможностью опоздать, даже увидав корабль и ожидающих, не могла прийти в себя и избавиться от страха. Хотя теперь это было явно бессмысленно, она продолжала бежать, волоча бедную девчурку по настилу причала.

И мать и дочка сразу же попали в заботливые руки последних пассажиров, в чем обе весьма нуждались.

«Дура!» — вяло отметил про себя старпом и, убежденный в

том, что, очевидно, на ней заканчивается список участников похода, решил прикинуть, хотя бы приближенно, какой рекорд поставлен сегодняшней посадкой.

Из записки комиссара и видимой части очереди у носового трапа получилось около 850 человек. Через кормовой трап пройдет (с оставшимися) немного более тысячи, да еще — 300 гвардейцев. Значит, не считая экипажа, получается что-то около 2200 пассажиров.

«Да-а!

Невероятно!.. Это почти в три раза больше, чем весь экипаж корабля, которому всегда казалось, что он размещен слишком тесно».

Напугала эта цифра старпома?

Нет… Как-то неожиданно в душе появилась примирительная лазейка от мысли, что если поход будет успешным, то 2200 женщин, стариков и детей, а также немало боеспособных мужчин окажутся не просто спасенными, но и будут сознательно или бессознательно помогать остальным миллионам советских людей продолжать священную борьбу.

«Да, операция исключительно опасная, рискованная, однако не безнадежная, судя по двум удачным попыткам. Кроме того, удавалось это не только нашему крейсеру».

Какой-то незримый механизм в мозгу с назойливостью метронома отстукивал два хода:

— Надо людей вывезти в надежное место!

— Надо разгрузить осажденный город!

К обратному ходу маятника — «повадился кувшин…» — старпом старался не прислушиваться. Конечно, с каждым разом риск увеличивается. Но на то и война.

Как-то незаметно, исподволь, под раскачивание странного метронома начало рождаться новое ощущение, просветлявшее все происходящее вокруг.

«За план перехода, выбор курсов и скоростей, за моменты поворотов и время прохождения особо опасных участков блокады, так же как и за маневрирование в бою (если его не удастся избежать), — то есть за корабль в целом — отвечает командир крейсера. Это ясно. Так же как то, что командир наш — классный капитан!

…Но вот за этих людей, оказавшихся в большем, чем следует, числе, как это ни страшновато (а это так, когда вспомнишь судьбу трех лайнеров, и не только лайнеров), — за судьбу пассажиров отвечаю я. И этого никому не уступлю».

Подняв глаза от тетради и квитков и заметив, что хвост очереди продвинулся до основания портального крана, стоявшего

почти на середине длины пирса, он с удовольствием отметил: «Слава аллаху! Две тысячи двести… и новых квартирантов не предвидится».

Он ошибся… Как бы назло, из-за элеватора вылетел старомодный лимузин, явно принадлежавший какому-то ответственному, иначе машину не пропустили бы к причалу. Затем стало очевидным, что после препирательств шофер отказался расталкивать остаток очереди, с тем чтобы пробраться вплотную к трапу.

Вслед за длительной паузой из автомашины выступила молоденькая актриса местного театра и двинулась вперед уверенным, но чуть жеманным шагом, очень напоминая пасторальную пастушку. Не только блондинистые кудряшки с голубой лентой, светлое воздушное платье и утренняя свежесть личика создавали такое впечатление.

Этому сходству как-то неожиданно способствовала длинная лопата, которую она осторожно и явно непривычно несла перед собой, словно тирс Диониса.

Нелепая лопата с нелепо длинной ручкой показывала, что актриса собиралась на военно-инженерные сооружения, возводимые вокруг города, в отношении которых действовала обязательная для всех «оборонно-трудовая повинность». Но, по-видимому, не ожидая, пока закончится строительство противотанковых рубежей, пастух решил эвакуировать пастушку.

Позже она рассказывала, что с двухчасовым запозданием им удалось въехать на машине в самую гущу горожан, сооружавших противотанковый эскарп, но ее встретили (и проводили) не так, как обычно в «Графе Люксембурге» или «Цыганском бароне». Вот тогда-то и родилось у заботливого шефа новое решение — срочно вернуться на службу, добыть квиток и направить свою даму на пирс (в одиночестве — чтобы избежать душераздирающей сцены прощания), даже не дав инженю времени заехать домой.

Решение абсолютно правильное, поскольку предполагалось, что после эвакуации остающиеся будут драться с врагом, не оглядываясь и не отвлекаясь заботами о близких, а общее число едоков в блокированном районе сократится… хотя бы на одну единицу.

Единственно, к чему можно было придраться, так это к непредумышленной попытке увезти лопату, которая, бесспорно, могла пригодиться на оборонных работах.

Но поскольку блондинка просто не знала, куда ее деть, а коварный шофер развернулся и исчез вместе с машиной, ее нельзя было очень осуждать.

Оставшись одна, пастушка некоторое время ожидала, что

шикарный моряк придет к ней на помощь и, растолкав безбилетных зрителей, уставившихся на нее, проводит на этот… броненосец… или миноносец.

Но тот стоял некультурным истуканом, как будто никогда не бывавшим в оперетте. Пришлось самой храбро двинуться вдоль причала, с явным намерением выйти непосредственно к трапу.

Однако какая-то невидимая сила постепенно начала опутывать эти замечательные (сценические) ножки, и с каждым шагом скорость поступательного движения «вне очереди» стала уменьшаться.

Дойдя до последней опоры консольного крана, актриса остановилась, все еще сохраняя небрежно-самоуверенный вид, как бы изучая страшно интересную конструкцию из непонятно запутанных стальных балок, зубчаток и колес. Еще немного погодя она по рассеянности разлучилась с лопатой, сиротливо маячащей теперь у крана, и… каким-то замедленным, уже не сценическим шагом, почти незаметно (как казалось ей) свернула с намеченного пути и тихо-тихо примкнула к хвосту очереди.

Теперь она стояла спиной к остальным, так что были видны только узенькие плечи, заслоняющие миниатюрную сумочку (весь ее багаж!). Но не думайте, что она осушала слезы. Бывшая пастушка старалась почти незаметно снять яркую губную помаду, абсолютно ненужный ей колер со щек и спрятать отмоченные слюной «выходные» ресницы и мушку.

Никто не сказал ни слова.

На инженю безмолвно смотрели со всех сторон с той минуты, когда она появилась на деревянных подмостках пирса, но, как только она нашла свое место, очень скоро перестали ее рассматривать. Пожалуй, последнее было самым необычным в ее жизни и почти обидным.

Прошло еще несколько минут, и очередь замыкала тихая и скромная молодая девушка, уже помогающая соседке подержать младенца, пока та перекладывала свой багаж.

— Две тысячи двести… и одна, — зарегистрировал старпом про себя этот неожиданный прирост числа пассажиров.

6

Мешочники

Необходимо учитывать, что описываемое событие происходило на юге, в один из летних месяцев, в послеполуденные часы. Вот почему, поскольку не было ни

свежего ветра, ни хотя бы морского бриза, общее утомление и тревога всех участников похода усугублялись нестерпимой жарой.

Пылало не только беспощадное солнце, но и нагретые уступы бетона, стальные конструкции кранов и элеваторов и металлические крыши пакгаузов и каменных строений, в таком обилии населявших порт.

Сам крейсер представлялся какой-то термокамерой, вернее — камерой пыток, особенно для тех, кто размещался по солнечному борту или работал в это время у котлов и паровых механизмов.

Когда к концу третьего-четвертого часа погрузки начала спадать дневная жара и решетчатые тени высоких кранов и мачт уродливыми изломами потянулись в глубь берега, немногие почувствовали облегчение, так как к этому времени стала сильнее сказываться усталость. Таким образом, общий баланс физических мучений в общем не уменьшался.

А как с настроением? С душевным состоянием?

Ведь каждое перемещение, почти на шаг вперед, или, иначе говоря, каждые полминуты приближали к кораблю, который должен перенести в края, где нет вот этой почти не затихающей канонады, нет визгливых сирен, нет налетов фашистской авиации и где (говорят!) будто бы можно, хоть изредка, кормить ребенка… даже фруктами!

Но главное — не будет этого вечно напряженного ожидания воздушных тревог, бомбежек и несносных репродукторов и телефонных звонков, испытывающих не только нервы, но, казалось… даже совесть.

А как будет в море?

Насколько опасно?.. Ведь в городе не раз приходилось слышать о том, что фашистам удавалось топить наши танкеры или транспорты.

Об этом, хотя никто и не уславливался заранее, не упоминалось ни слова. Больше того — старались не думать.

Как только хвост очереди, медленно подползающий к трапу, сократился еще наполовину, из-за элеватора показались двое мужчин с тяжелыми мешками.

Еще издали они как-то насторожили старпома.

Пожалуй, за весь день в бесконечной ленте отъезжающих только эти двое выглядели мужчинами без видимых признаков инвалидности. И второе — здоровые дяди тащили мешки, почти вдвое превышавшие скромные пожитки остальных, багаж которых был ограничен строгим административным предписанием.

Когда опоздавшие приблизились, замеченное мутнеющим взглядом старпома подтвердилось. Хвостовые пассажиры оказались хотя и не молодыми, но явно «способными носить

оружие», а не таскать туго набитые брезентовые мешки странного вида и, очевидно, далеко не легкого веса.

Продолжая механически делать разметку оставшихся «квартирантов» и с досадой замечая, что все чаще делает ошибки, старпом уже не мог выпустить из наблюдения этих помятых типов. Навязчивая реакция переутомленного человека.

Но существует нечто более сильное и беспощадное, чем любая нервно-психическая реакция, — человеческое предубеждение. Почти неизлечимое.

Вот почему, хотя мужчины вели себя так же выдержанно, как остальные, даже медлительнее и спокойнее, все же они казались старпому не только подозрительными, но явно его раздражали.

— Две тысячи двести — и одна, — повторил беззвучно старпом свой регистрационный счет, так как предрешил, что мешочников не допустит на борт крейсера.

Сначала он хотел поручить боцману послать этих молодчиков подальше. Но вдруг по глазам старика сообразил, что уже, собственно, не он сам, а боцман производит распределение.

То есть не боцман, а он, только под уважительный шепот старого черта. Боцман произносил почтительно, в четверть голоса: «Первый кубрик», «старшинская», «лазарет» и дальше в том же духе, причем так, что не только рассыльным, но и самому старпому казалось, что старик одобрительно фиксирует решение, принятое начальством. Однако фактически боцман называл помещение на долю секунды раньше, чем оно обозначалось рукой утомленного старпома.

Поскольку этот маленький обман открыто не нарушал субординации, а старпому постепенно все делалось безразличным, даже собственные ноги, затекшие в ставших узкими ботинках (лишь бы закончить посадку!), он отказался от посылки старика.

«Сам скажу… под занавес! Ничего себе для финала: опереточная дива, сумасшедшая мамаша и два бандита!.. Да! Чуть не забыл… и груз жести в придачу!»

Однако предстоящее окончание посадки эвакуированных не радовало переутомленного человека. На это не хватало сил.

Убеждение в том, что замыкающие очередь являются ловчилами или жуликами, окончательно утвердилось у старпома, когда один из мужчин (пока еще с целой физиономией…), прислонив свой мешок к дружку и перебрав что-то в бумажнике, медленно обошел стоящих в очереди почти до самого трапа, как бы прогуливаясь сторонкой.

Вернувшись, он что-то шепнул приятелю, после чего они затихли.

Опять разметка…

Еще разметка!

Крепись, старпом!.. Осталось совсем немного!

И вдруг в мозгу, как всплеск, — мысль:

«Ах, какой я болван! Потому и не торопятся… Это же как бог свят, хотят со мной с глазу на глаз остаться! Ясно, как… как в дальномер!»

Опять разметка; топот рассыльного сверху; опять, поддерживая под локти, помогают подняться наверх величественной и не очень исхудавшей старухе.

«То ли у них нет пропусков и „купить“ место на корабле хотят… шепотком?! То ли ловчат на каюту с удобствами?.. Меня? Купить?.. Ну, голубчики, я вам куплю!»

Старпом даже приосанился, крякнул, как-то посвежел и даже перебил подсказку боцмана, не уловившего внутреннего процесса, происходящего с начальством.

Злость, ярость, благостная ярость пришла на смену апатии, утомлению и безразличию.

Однако ее хватило ненадолго.

Остались буквально единицы (кроме тех двух, которых старпом упорно не учитывал): несколько полуинвалидов; давно успокоившаяся мамаша, перепутавшая дочку с чемоданчиком; строгий старикан с осанкой героического монумента; молодуха в платке и… опереточная дива, совсем не похожая на себя, счастливая от общения с новыми друзьями, занятая массированием плеча пострадавшей девчурки. И хотя было ясно, что подобная возня с ребенком для нее непривычна еще больше, чем игра с лопатой, все же никто не мог бы поручиться, что из недавней пастушки со временем не выйдет замечательная мать, возможно даже удачно сочетающая эту ответственную роль с большими ролями в оперетте. Все зависит от того, в какую компанию она попадет на следующем этапе своей жизни… если, конечно, этот этап закончится благополучно. Старпом не мог вспомнить, в какой оперетте видел «каскад» этого большого ребенка, так потускневшего за полчаса от непривычного стояния в очереди, да еще на солнце.

Не трогало то, что у носового трапа опять дела идут с отставанием. Не радовал и уже видимый конец распределения пассажиров, так как казалось, что теперь сойти с места и тащиться на корабль — мучительнее, чем стоять на месте. Так бы и стоял до скончания века…

Но несмотря на то, что от усталости очень многое перегорело в душе старпома, по мере приближения замыкающих очередь снова стало накипать в его груди, как в перегретом котле перед

взрывом. По-видимому, досада на загубленную боевую карьеру, необходимость отрыва от настоящей драки, ответственность за предстоящую ночь, недосыпание с первых дней войны и многое, многое другое — где-то прорвало защитную систему торможения и сейчас сконцентрировалось в презрении и ненависти к этим проклятым мешочникам.

Зная, что он скоро взорвется, старпом не стеснялся предстоящего, не пытался обуздать накопившийся в нем гнев и даже с каким-то наслаждением ожидал этой разрядки. Он даже не взглянул на опереточную диву и мамашу, отмечая их пропуска.

Разнокалиберные круги, вертевшиеся в глазах, закружились, дробясь еще быстрее и чаще, поэтому он почти не видел, как ближайший из типов, временно прислонив мешок к ногам приятеля, протянул старпому сразу два квитка, держа в другой руке паспорта с какими-то вложенными в них документами.

Абсолютно машинально старпом принял квитки, поскольку сегодня делал это более тысячи раз, но тут же с досадой обнаружил внутри себя полнейшую пустоту. Оказалось, что он не заготовил никакого монолога, или тирады, или хотя бы соответствующего случаю трехэтажного морского загиба. Возраставшее возмущение исходило из предпосылки, что у этих жуликов никаких пропусков не может быть.

А в действительности на обороте врученных квитков, помимо круглой печати местного Комитета обороны, стояли вторые, треугольные, штампики областного НКВД.

Это был первый случай за сутки.

Старпом онемел. Он онемел бы даже в том случае, если бы в голове была заготовленная эффектная и сильная фраза на манер громового раската.

Не находя в себе сил не только объясняться, но даже взглянуть им в лица, он с презрением, каким-то чужим голосом сипло выдавил, не слыша шепота старика:

— Боцман! На верхнюю палубу… проветрить у второй дымовой трубы!.. — Вслед за тем тихо пробурчал: — Крепко перестраховались… подлецы!

И, почти ничего не видя перед собой, автоматически двинулся вверх по трапу, так же автоматически совершая изрядное хамство, недостойное моряка: подниматься на корабль впереди гостей, кем бы они ни были.

Осиливая скрип отвердевших колен и какое-то бульканье в глотке, старпом скомандовал:

— Батальону — приготовиться!

Еще через несколько ступеней, показавшихся более легкими, хотя на ногах еще как бы висели водолазные боты со свинцовыми

подошвами:

— После армейцев — подготовить трап к подъему!

А две запыленные и помятые фигуры с запыленными и помятыми лицами и мешками, очень похожие друг на друга, почтительно отступили к борту, пропуская начальство. По их виду нельзя было догадаться, поняли ли они смысл данных указаний и дошла ли относившаяся к ним оценка.

Не успели они ступить на палубу, как мимо потекла непрерывная цепочка солдат, неизвестно где и как накопивших способность к такому проворству.

Наконец, проходя около поста дежурного офицера, старпом отдал последнее приказание:.

— Позвонить на мостик: по кормовому трапу погрузка закончена!

7

«Agressi sund mare tenebrarus…»[1]

Закончилась посадка, но не кончился рассказ.

Затемненный крейсер вышел в море, когда стали сгущаться вечерние сумерки, ускоренные тем, что с зюйд-веста небо начало застилаться сплошной высокой облачностью. Как будто завесив тяжелым пологом солнечный закат, кто-то старался плотной шторой затянуть весь небосвод, спеша переключить день на ночь.

Затемненный город, медленно отступая в противоположном направлении, погружался в мрачную темноту и тонул в ней. Глуше доносилось запаздывающее ворчание сливающихся артиллерийских залпов и взрывов бомб, напоминавшее раскаты далекого грома в горах.

С палубы не было видно ни орудийных вспышек, ни цветных ракет, в чье дьявольски красивое сочетание впивались до рези в глазах дальномерщики на марсе. Пассажирам, находившимся внизу, оставался только мерцающий кровавый огонь над хутором, горящим на берегу, — пожар, который еще круче замешивал окружающую тьму.

Мрачным был этот последний привет родной земли, медленно удалявшейся на норд-ост.

Как будто связывая небо с морем, стороной прошли черными черточками фашистские бомбардировщики, явно возвращавшиеся из нашего тыла. Командир крейсера, исходя из расчета, что корабль может остаться не замеченным на фоне ночного моря, убавил ход, чтобы уменьшить пенный шлейф за кормой, и…

запретил открывать огонь.

То ли он угадал, то ли у немцев не было бомб и они спешили добраться до своих аэродромов, — «разговор не состоялся», как заметил старший штурман, и… «каждый пошел своей дорогой».

Еще через час не осталось и следа от трагического ориентира на берегу, после чего уже нельзя было отличить темноту суши от темноты моря или от темноты беззвездного и безлунного ночного неба, затянутого сплошной облачностью.

В этом мраке растворился и исчез корабль, до краев переполненный живыми людьми, с их страхами, сомнениями, надеждами и мечтами, так же как и с их неведением того, что ждет их в следующий час.

Почти в то же самое время на расстоянии не более ста миль, считая к норд-весту, на стенке захваченного рыбачьего порта, временно приспособленного под маневренную базу фашистских «москитных сил», стоял матерый пес с рыцарским крестом на ошейнике, снаряжавший две стаи-флотилии в погоню за советским крейсером. Капитэн цур зее был в прекрасном расположении духа от уверенности в успехе операции, а еще больше потому, что сам оставался на берегу «по долгу службы», для управления взаимодействием союзных катеров с подводными лодками.

После инструктажа мимо командира «соединенной группы» проходили на свои катера молодые офицеры, предварительно хлебнув спиртного для бодрости.

Торпедные «москиты» уже гоняли моторы для прогрева, почему шум и суета в небольшом рыбачьем ковше напоминали нервную возню своры гончих собак перед травлей.

— А как и где будут действовать подводные лодки? — спросил немца командир итальянской флотилии князь Валерио Боргёзе, застегивая перчатки с крагами.

— Предоставьте это мне, exzellenza! — высокомерно ответил сын мюнхенского пивовара, «рыцарь», не имеющий герба, но носящий золотой значок ветерана — наци.

— Хайль!.. Желаем удачи! — крикнули итальянцы ненавистным «колбасникам».

— Хайль!.. Желаем удачи! — крикнули немцы презренным «макаронникам».

Две кильватерные цепочки катеров, уходивших в «неизреченную тьму» моря, извивались, как мифические морские змеи, следуя подъему и опусканию валов пологой зыби, — пока не исчезли в темноте.

…Наступило утро. Но никакие уговоры не могли заставить старпома, почти пьяного от ослепительного рассвета (уже в

безопасной зоне) и от разрядки нечеловеческого напряжения после прошедшей страшной ночи, — лечь спать. Ему казалось, что пережитый кошмар как бы освежил его и что теперь он может работать до бесконечности. Кроме того, где-то в закоулках души смущенно таилось желание проводить счастливых гостей.

Понадобилось прямое приказание командира крейсера, чтобы его старший помощник наконец отправился в каюту, только что опустевшую от прекрасно выспавшихся «квартирантов».

Войдя пошатываясь, он прежде всего вытянулся в стойку «смирно» (как делал это скрытно от всех после больших и успешных операций), полный счастьем выполненной задачи, прямо смотря в прищуренные глаза, которым нельзя ни солгать, ни похвастаться выспренними словами.

— Докладываю. Две тысячи двести одна… — Но, сообразив что-то, торопливо добавил: — И два кассира Госбанка с несколькими миллионами в двух мешках, так же как пятнадцать тонн импортной жести, — доставлены по назначению!

На большее его не хватило.

Не дослушав ответа, старпом свалился как подкошенный на диван, успев машинально расстегнуть воротничок кителя и чувствуя, что проваливается куда-то глубоко-глубоко уже вместе с диваном, потеряв всякое представление о времени и пространстве, растворенных обволакивающей мягкостью и теплотой.

Только на мгновение вновь пробудилось сознание, когда в нем мелькнул зарок, родившийся с восходом солнца, — написать Пашке Овчинникову, чтобы он вместе с его миноносцами убирался подальше, так как он свой крейсер ни на что и никогда не променяет.

Пари «Летучего голландца»

1

По спискам флота он числился Николаем Юльевичем Озаровским, но гораздо шире был известен по прозвищу «Летучий голландец».

Внешне ничего подчеркнуто морского в нем не было, несмотря на то, что всю свою жизнь он провел на флоте. Коренастый, среднего роста, белобрысый, относительно медлительный в движениях и в мыслях, он оставался мечтательным, почти непьющим, всегда улыбающимся, добродушным и доверчивым. Как видите, довольно невзрачный герой, вопреки своему прозвищу далеко отстоящий от типа так называемого сурового морского водка.

В любой момент он готов был прийти на помощь первому

встречному, попавшему в беду. Если же выяснялось, что встречный, прикинувшийся дружком, оказывался мелким подлецом, Летучий голландец полурастерянно улыбался, оставаясь терпимым и склонным к всепрощению. Вот почему у него всегда было больше приятелей, чем у любого другого — скептически настроенного или наученного жизнью человека.

Конечно, не за эти качества получил он прозвище, а за совершенно неистребимую, по-особенному чистую и романтическую любовь ко всему флотскому и морскому, любовь, которая сочеталась с высокими профессиональными качествами и обширными теоретическими познаниями. Озаровский был кадровым офицером военного флота и исключительно удачно сочетал в себе главные качества этой профессии, в отличие от двух основных разновидностей своих коллег — от тех, которые бывают слишком военными, но плохими моряками или, наоборот, являются чудесными моряками, но абсолютно невоенными людьми.

Малозаметный мичман Балтийского флота, он получил боевое крещение во время войны с кайзеровским флотом, в финляндских шхерах и в Рижском заливе.

Могу засвидетельствовать, что только естественная скромность помешала Озаровскому стать общепризнанным героем. Это был человек редкой отваги и спокойной храбрости, но всегда остававшийся в тени.

После Октября, который Озаровский принял сразу навсегда, в период относительного спокойствия в Гельсингфорсе он бросился под Нарву, в отряды морской пехоты, сформированные Павлом Дыбенко. Но в разгар событий на псковском направлении до моряков дошли слухи о том, что флот, оставшийся в главной базе, оказался под угрозой, так как немцы захватили Ревель с суши, а с моря высадили десант в Ганге и двигаются к Гельсингфорсу, в то время как линейная эскадра вице-адмирала Маурера пробивается туда же, используя предательски захваченные у нас ледоколы.

Озаровский поспешил обратно через Петроград, так как другого пути не было, и только-только поспел, чтобы принять участие в легендарном Ледовом походе, благодаря которому балтийцы спасли свой флот. На долю мичмана Озаровского выпало спасти старый четырехтрубный угольный миноносец типа «Резвый»; на нем он воевал с немцами еще в Моонзунде.

Такой человек не мог отсиживаться в Петрограде, когда началась гражданская война и интервенция. С обычной своей доблестью и скромностью он дрался против офицеров из гвардейского экипажа, выкинутых ходом истории из

императорского российского флота на колесные буксиры камских и волжских мукомолов и нефтяников, которые возлагали все свои политические и коммерческие расчеты на адмирала Колчака. Позже руководил обороной морских подступов к большевистской Астрахани от блокировавших ее кораблей, носивших на гафелях крест св. Георга[2]. Этот своеобразный филиал колониального флота его величества создавался на фунты стерлингов дельцов Сити, попахивавшие бакинской нефтью. Он родился из каспийских танкеров, переоборудованных в мусаватистской столице или в бичераховском Петровск-порте[3], на которых были установлены морские пушки известных поставщиков британского адмиралтейства Виккерса и Армстронга.

И не случайно то, что именно С. М. Киров, умевший видеть на сажень под землей, утвердил назначение Озаровского на должность начальника обороны двенадцатифутового рейда Астрахани. Несмотря на его молодость для такой должности, на то, что он был беспартийным, и даже на то, что несколько его однокашников воевали вместе с англичанами против нас, — Сергей Миронович не ошибся.

Всю гражданскую войну и борьбу с интервентами Летучий голландец воевал, взрывался на морских минах, тонул, спасался, спасал других и, не успев обсохнуть, спешил опять на мостик, с тем чтобы броситься в следующую драку.

Потом воевать больше стало не с кем, и он долго не находил работы по сердцу, обретая утешение своей душе только тогда, когда мог обучать молодых матросов, курсантов или офицеров постижению профессиональных навыков и секретов. Он не только учил, но и воспитывал советских моряков, приохочивая их к морю, прививая любовь к нашему флоту, к его добрым традициям, и делился опытом гражданской войны.

Был период, когда начальство, забывшее его дела и считавшее Летучего голландца своеобразным партизаном, не сумело его хорошо использовать, удивляясь тому, что Озаровскому все чего-то не хватает, и всеми средствами старалось вжать его в общий ранжир «нормального прохождения службы». Наконец Летучему голландцу повезло — его назначили командиром экспедиционного судна «Первое Мая» (бывший «Дунай»), По сути дела, это был самый банальный транспорт, да еще сравнительно небольших размеров, приспособленный для гидрографических работ. Летучий голландец был счастлив и засучив рукава занялся выполнением скромных, но очень нужных экспедиций.

Небольшой эпизод, пожалуй, характеризует нашего героя ярче, чем длинное изложение его биографии.

Найдя в книге Ю. Ф. Лисянского «Путешествие вокруг света» бедственные заметки знаменитого капитана «Невы», относящиеся к периоду от пятнадцатого до тридцать первого октября 1805 года, в которых описывается посадка корабля на коралловые рифы, не обозначенные на картах, Озаровский особенно заинтересовался попутным открытием маленького острова, названного островом Лисянского[4]. Несколько птиц и три убитых тюленя оказались единственными представителями живой фауны этого микроскопического клочка суши, открытого на поверхности необъятного Тихого океана при переходе Лисянского из Кадьяка в Кантон.

Проведя почти две недели в хранилищах и архивах Главного гидрографического управления в Адмиралтействе, изучив все тихоокеанские походы начиная с капитана Кука, Озаровский пришел к убеждению, что остров Лисянского относится к случаю первооткрытия, не оформленного российским капитаном то ли из скромности, то ли из опасения повторной посадки на коралловые рифы, с которых «Неве» пришлось двукратно сниматься с великим трудом. Составив на основании этих предложений обстоятельную докладную записку и захватив с собой рулоны карт не только Крузенштерна и Лисянского, но и их предшественников в водах Великого океана до Лаперуза включительно, он отправился в Москву.

Прямо с Ленинградского вокзала он проложил курс в УВМС[5], но здесь надо было предварительно выложить, с какой целью предполагается беспокоить начальство. Таковы требования военной субординации. Без этого нельзя было попасть на доклад, а обходных путей Летучий голландец не знал и не умел узнавать. С явным скептицизмом, если не с долей издевки, было встречено предложение снарядить немедленно экспедицию для поднятия флага РСФСР и установки памятного знака с бронзовой доской на острове Лисянского. Конечно, при соблюдении всех подобающих случаю церемоний (в виде орудийного салюта, официального извещения иностранных держав и т. д.) и при условии, что командование экспедицией будет поручено лично ему. Вот почему, когда Летучий голландец попал наконец на доклад, уже были подготовлены проекты не только резолюций, начальства, но и его острот.

Высокое морское командование вдоволь посмеялось над предложением Летучего голландца.

В Наркоминделе, поскольку автор проекта экспедиции не имел верительной грамоты от своего командования, он не проник дальше начальника одного из второстепенных отделов.

Здесь Озаровскому разъяснили, что «данная проблема

относится к компетенции морского ведомства, почему приоритет выступления перед правительством остается за ним… после чего, в случае положительной санкции, коллегия Наркоминдела проштудирует все материалы и даст свое резюме… Не забудьте только сопроводить основной документ меморандумом, подробно иллюстрирующим демографическое и политико-экономическое состояние острова, динамику развития и эвентуальную перспективу на ближайшее время…» и так далее.

Травма была, очевидно, сильной, так как очень уж искренне и бескорыстно хотел он, чтобы красный флаг с серпом и молотом навсегда утвердился над водами Великого, или Тихого, океана.

Вернулся он в Ленинград заметно сумрачным и менее разговорчивым. Не только о поездке не говорил почти ни слова, но и перестал выпускать на волю свои мечты… Это не означает, что Летучего голландца отучили мечтать. Это было невозможно. Но его отучили мечтать вслух.

Теперь прозвище Летучего голландца как-то утвердилось еще больше, но в интонациях некоторых сомнительных друзей оно имело более иронический оттенок.

Постепенно эта идея остыла, как стынут многие другие пылкие мечты.

2

И вот уже тридцатые годы. Кронштадт.

Уже семья в Ленинграде. Уже седеющая голова. Уже очки, которых в первое время он стеснялся. Но ни служебной бодрости, ни любви к морской романтике не убавилось ни на йоту; он остается все тем же.

Хотя по всему складу характера и навыкам он являл собою тип «марсофлота»[6] лихого «офицера с мостика», так как только на нем в море преображался и чувствовал себя на месте, все же у кого-то возникла мысль перевести Озаровского для работы в штаб. Эксперимент оказался на редкость удачным, несмотря на то что Летучий голландец был не на шутку возмущен и оскорблен, искренне считая, что перевод моряка на береговую должность означает конец его жизненного пути и сдачу как бы в архив.

Во время малоубедительного препирательства с начальником штаба он стоял с унылым видом и серьезно уверял, что боится утонуть в бумагах. И поскольку никакие доводы не помогли, он выпросил себе право занять кабинет на верхнем этаже кронштадского небоскреба, с обязательным условием, чтобы его окна были обращены в сторону гаваней и рейда. Попутно в форме

весьма деликатного ультиматума заявил, что по окончании рабочего дня будет, когда позволят обстоятельства, путешествовать на яхте вокруг да около Котлина, с тем чтобы периодически проветриваться от входящих и исходящих.

Через день Летучий голландец хотя и продолжал ворчать, но уже работал много и с увлечением, как и всегда раньше, забывая счет времени, так как иначе работать не умел.

А через месяц его кабинет, оборудованный стеллажами для карт и увешанный барографами, биноклями, трубами и старинными морскими часами, напоминал больше штурманскую рубку, обитатель которой, не вставая с кресла, мог наблюдать печальными глазами за движением кораблей и судов, следующих мимо Кронштадта, по Большому фарватеру. При этом «купец», проходивший в Ленинград, в зависимости от флага казался ему идущим из Тринкомали, а уходивший на запад — в Гуантанамо или в Порт-оф-Спейн. И так хотелось перекинуться парой слов с каждым капитаном и предупредить обо всех коварных отмелях и рифах на подходах к этим портам или о камнях, закрываемых пеной приливов в сизигийные периоды, о которых он так много знал по картам и лоциям, но еще больше — по прочитанным романам.

Итак, каждое утро Летучий голландец, с исключительной пунктуальностью появляясь в своем рабочем кабинете, прежде всего открывал форточки (или окна, в зависимости от сезона) и внимательно оглядывал гавани, рейд и Южный берег.

Это смотрел на воду и на небо не праздный обыватель, собирающийся на прогулку по Петровскому парку, а начальник отдела боевой подготовки, то есть офицер, отвечающий за щиты для стрельб, за организацию вылетов самолетов-разведчиков, за распределение полигонов для маневрирования подводных лодок и за многое-многое другое, что должно по строгому плану взаимодействия протекать в море, под водой, в воздухе и на побережье. Причем все это осложнялось условиями такого уплотненного базирования Балтийского флота, что не хватало ни моря, ни воздуха, ни суши.

Но кроме начальника УБП[7] в лице Летучего голландца одновременно смотрел в окно яхтсмен-любитель, спортсмен-артист, который после работы мечтал сделать несколько галсов в пределах Маркизовой лужи[8].

Именно эти прогулки на яхте служили тем целебным бальзамом, который в значительной мере примирял Летучего голландца с жизнью и работой на берегу. Поэтому рядом со служебным зданием, один из фасадов которого выходил на Итальянский пруд[9], недалеко от бона для штабных катеров был

организован своеобразный филиал яхт-клуба — Озаровский держал тут одного из «Драконов»[10].

Периодически, а летом чуть не ежедневно, если позволяли обстоятельства работы и погода, Летучий голландец прямо из кабинета, не переодеваясь, спешил к бону Итальянского пруда и один выходил в море, с расчетом использовать хотя бы час или два до спуска флага. Не для гонок и состязаний, а только для себя проделывал он затейливые эволюции в водах, омывающих остров Котлин. Почти никогда не уменьшая парусности, даже в свежую погоду, он часто возвращался мокрый насквозь, уставший, с ладонями рук, содранными шкотами, но бодрый и довольный.

Это было не только удовлетворение спортсмена, но и человека, проветрившего мозги от пыли бумажного мусора, накопившегося за сутки.

Именно потому друзья-остряки посоветовали окрестить яхту «Форточкой» или «Отдушиной», однако ее хозяин категорически возражал, уверяя, что ее класс, то есть «Дракон», является прекрасным наименованием. Так как подобное совмещение не допускалось правилами яхт-клуба, Озаровский, застенчиво улыбаясь, добавил:

— Кажется, у меня за кормой ее называют «Летучим голландцем»? Так пусть и останется этот «Дракон» «Летучим голландцем».

Пожалуй, это был первый случай, когда он выдал себя в том, что не только терпит свое прозвище, но что оно в душе ему нравится, а возможно, даже льстит.

Предложение не прошло. Оказалось, что один из классов гоночных шверботов уже именовался «Летучим голландцем». Так некрещеный «Дракон» и остался «Драконом».

В отдельные дни по выражению лица капитана яхты нетрудно было догадаться, что он оставался один на один с ней для того, чтобы без помех обдумать и решить какой-то мучивший его сложный вопрос. Но это не всегда ему удавалось. Очевидно, против некоторых напастей судьбы даже «Дракон» был бессилен.

3

Этот оказавшийся злополучным день, начинался тем чудесным утром первых чисел сентября, которые так хорошо знают ленинградские старожилы.

Погоду можно было назвать «прогулочной». И несмотря на то, что все небо плотно закрывал серый облачный покров, под ним установилась отличная видимость до самого горизонта, а теплый

и сухой ветерок вычесывал в слегка золотеющих парках Стрельны, Петергофа и Рамбова[11] отдельные рано увядшие листья. Краткие периоды подобных дней не избалованные природой старые балтийцы полуиронически называют курортными. В этот период лето затягивается, рассчитывая свой срок по старому стилю, а осень торопится вступить в свои права, используя новый стиль. Даже административно-строевые отделы через СНиС[12] и комендатуры при такой погоде рискуют оповещать о разрешении ходить в белых кителях и форменках; конечно, до спуска флага, так как вечера становятся прохладными.

В отделе УБП это утро началось, как всегда, и Летучий голландец, обойдя окна и постучав ногтем по стеклу барографа, почти бесповоротно решил, что сегодня по крайней мере часика два покувыркается на «Драконе». Уж очень был соблазнителен этот упругий и устойчивый норд-норд-вест от трех до четырех баллов.

Но во время обхода приборов, машинально набивая табаком неказистую трубочку, Летучий голландец заметил, что в смежной комнате его верноподданные помощники не сидят на рабочих местах, а, сбившись в группу, заговорщически шушукаются.

Оказалось, что ночью изъяли, как тогда принято было говорить, капитана 1-го ранга Н., но об этом никто ничего толком не знал. Даже комиссар штаба.

Что оставалось делать Летучему голландцу?

— Не вижу оснований прерывать работу! Предлагаю немедленно заняться своими делами!

Про себя он решил, что когда явится к начальству с очередным докладом, то после служебных разговоров постарается убедить, что в подобном случае нельзя играть в молчанку, а надо разъяснять офицерам, что к чему.

Но не успели щелкнуть замки распахнутых сейфов, зашелестеть раскладываемые карты и планы полигонов и прозвенеть первые телефонные контакты с другими штабами, как в кабинет вошел известный на всех флотах «артиллерийский бог» — Сергей Венкстерн. Начальник кафедры Высших офицерских курсов в Ленинграде, сейчас он больше месяца обретался на кораблях и фортах, руководя практикой своих питомцев, будущих высококвалифицированных пушкарей советского флота.

Визит тривиальный, так как математика и специалиста по теории вероятности связывала давнишняя дружба с Летучим голландцем, а, кроме того, планирование и утряска всех расписаний учебных стрельб осуществлялись именно в этом кабинете.

После штатного обмена приветствиями Венкстерн

обстоятельно уселся в кресло перед столом и с привычной методичностью стал перезаряжать свою строгую, но изящную трубку среднего калибра. По манерам, мимике и голосу нельзя было заметить какого-либо уклонения от обычного настроения этого умного, но немного скептичного друга, обладавшего исключительной выдержкой артиллериста.

Выждав, когда Летучий голландец прервет вычерчивание какой-то хитроумной схемы, Венкстерн произнес тихим, но вполне внятным голосом, смотря в потолок:

— Отвратительно себя чувствую. Понимаешь, как-то неловко… Кругом забирают, а ты должен себя чувствовать как ни в чем не бывало.

После паузы и первых клубов дыма из трубки:

— Может быть, завтра заберут… может, через неделю! А может, совсем не заберут? Такая неопределенность отнюдь не стимулирует охоту к работе…

Летучий голландец понимал, где кончалась поза его друга, а где начиналось подлинное смятение духа.

Заметив необычную тишину в смежном кабинете, друзья расстались, после того как Летучий голландец пообещал поделиться результатами разговора с начальством. Затем он с яростью окунулся в работу, не давая передышки ни себе, ни другим. В течение последнего времени у него выработалась манера работать до одури, чтобы утомлением, вернее, переутомлением отгонять мрачные мысли и как-то заполнять гнетущую пустоту.

Однако ожидаемый разговор не состоялся, а по глазам начальника стало ясно, что он ничего не знает и сам не понимает происходящего.

Закончив служебный день и поработав еще сверх того, Летучий голландец, наскоро перекусив, нетерпеливо сбежал на набережную. Он боялся упустить возможность встряхнуться на «Драконе» — до спуска флага оставалось не более двух часов с минутами.

4

Яхта привычно рванулась от пирса в свою стихию и вся погрузилась в упругий ветер, чем-то напомнив морского льва или котика, бросающегося с камня в прибойную волну.

Проскакивая в Лесные ворота, Летучий голландец перекинул гик на другой борт для разворота на ост, к Малому рейду, и тотчас поймал себя на мысли, что, возможно, он не повел

«Дракона» в сторону открытого моря под влиянием исповеди Венкстерна… чтобы не могли подумать о его попытке удрать в Финляндию.

И тут же обозлился на самого себя, послав к черту «артиллерийского бога», так как вспомнил, что еще с утра мечтал взглянуть со стороны залива на Петергофский парк, великолепия которого в это время года обычно не знают ни экскурсанты, ни туристы, ни петергофские аборигены, восхищающиеся зеленым и золотым убранством парков только с суши.

Наступило некоторое примирение с собой.

Делая поворот через фордевинд, он успел заметить высокий столб дыма за кормой, — очевидно, в Ленинград с веста приближался большой «купец», еще невидимый за чертой горизонта. Но вообще ближайшие рейды и фарватеры были на редкость непривычно пустынными. Как будто свежий ветер сдул все плавающее с поверхности Маркизовой лужи.

Лавируя в сторону Морского канала, Летучий голландец никак не мог изменить ход своих мыслей и все время возвращался к событиям дня и визиту Венкстерна.

Он не испытывал той своеобразной неловкости, о которой говорил ему Венкстерн; он трудился на полный ход, не оглядываясь в работе ни на одну из химер, выглядывавших из темных углов, не следовал дружеским предостережениям, открыто выступая против сомнительных начинаний или назначений, но все же самочувствие его было отвратительным.

Кто как, а уж Летучий голландец не раз попадал в переделки, во время которых выбывали товарищи из строя, а оставшиеся смыкались. Горестно было терять боевых друзей, трудно было воевать за двоих-троих, страшным казалось ослабление флотилии или дивизиона, когда убыль не восполнялась. Всякое было.

Больше того, видывал он даже, как тот, кого числил не только в списках, но и в душе своим товарищем, став предателем, перебежал к белым. Например, мичман Емченко в 1919 году под Астраханью.

Всякое было.

Но тогда он совершенно ясно сознавал, кто враг, а кто свой, то есть честный боец РККА или РККФ, боец за советскую власть.

А сейчас?

Нет ли рокового недоразумения?

Ведь если изъятые виновны, то это трагично для флота, но если они не виновны — это трагично вдвойне, так как, кроме того, наносится удар по самому святому — по чести достойных людей, патриотов и коммунистов, дорожащих своим именем больше жизни.

…Еще страшнее то, что, как яд, растлевает души — взаимная подозрительность, недоверие к каждому, даже к лучшему другу.

А разве можно воевать вместе с товарищами, в которых сомневаешься? Больше того, как можно вообще жить без веры в людей?

Поворот яхты. Крутой, резкий, с предельным креном, так как дальше по курсу угрожающе торчат зазубрины камней вокруг островка, служащего основанием для большого маяка.

Поворот в мыслях.

Внезапно мелькнули в памяти растерянные глаза начальника и его бодрое напутствие: «Работайте, не задумываясь! Человеку с чистой совестью нечего волноваться за себя!»

Мало иметь чистую совесть. Надо еще, чтобы совесть была спокойна. А этого-то как раз и не было. На душе было невыносимо скверно от ощущения бессилия.

Свежий ветер до предела наполнял паруса. «Дракон» мчался красиво и задорно в крутой бейдевинд, наискось обгоняя хлопотливые и уже довольно крупные волны, весь в шипящей кружевной накидке, с пенным шлейфом за кормой. Летучий голландец, чуть запаздывая, делал развороты на предельных кренах, так что подозрительно поскрипывала у степса мачта и на разные голоса подвывали струны фордунов и вантин. Но он почти ничего не видел, действуя привычно, машинально, почти бессознательно. Тем более что упругий и устойчивый ветер, дувший с финских озер и лесов, играл честно, не преподнося никаких неожиданных каверз.

Вдали, справа по носу, уже можно было чуть различить полоски крыш петергофских дворцов, а рулевой продолжал сидеть в неудобной позе. Он не перебирал шкоты, когда они глубоко врезались в кисть руки, не слышал журчания воды, омывающей борта, и шлепки ее под подзором.

Летучего голландца обдувало и продувало насквозь этим свежим ветром, но ему было душно. Мысли, мрачные мысли, одна хуже другой, обгоняли ветер, преследовали, пронизывали мозг, выворачивали душу.

Нет, сегодня курс лечения на яхте, бегущей по волнам, не давал никакого облегчения.

5

В такие дни, когда тяжелый облачный покров еле касается шпилей Адмиралтейства и ленинградских соборов, если не

смотреть на часы и если не пробьется сверху случайный луч, положение солнца почти невозможно определить на глаз. Рассеянный свет распределяется равномерно, от горизонта до горизонта, тот насыщенный и рассеянный свет, при котором нет теней, но в то же время все вокруг отчетливо видно, а весь ландшафт почему-то напоминает гигантский аквариум.

Не скажешь сразу, утро или вечер, и день поэтому кажется особенно длинным, хотя белые ночи уже месяц-два как остались позади. И так до тех пор, пока заходящее солнце не пронижет это пространство почти горизонтальными лучами, даст краткий отблеск на тех же шпилях и быстро скроется где-то в водах Нарвского залива.

В такие дни сумерки кажутся короткими, как в тропиках, после чего наступает темнота. Звезд нет. Только разноцветные маячные и портовые огни, видимые на очень большом расстоянии, напоминают о прошедшем «курортном» дне не очень гостеприимной Балтики.

Летучий голландец отлично знал гидрологию Маркизовой лужи и обычно так искусно управлял своим «Драконом», что не нуждался ни в картах, ни в компасе, «кувыркаясь» где и когда хотел, учитывая нагон воды или ее убыль в зависимости от направления и силы ветра.

Вынужденный иногда ходить в Петергоф или к Рамбову по мелким местам, вне фарватеров, или преодолевать места старинных ряжей, невидимых глазу, он научился пользоваться особым приемом — «перепрыгивать» с ходу через неширокие банки и мели при помощи искусственно создаваемого сильного крена. Тем самым свинцовый фальшкиль как бы подбирался и осадка яхты значительно уменьшалась.

Но бывает и на старуху проруха.

В этот злосчастный день, приближаясь к входу в Морской канал, Летучий голландец, как всегда, помнил, что землечерпалки, подчищая ходовую часть фарватера, набрасывали вдоль его бровки, с обеих сторон, как бы вал из грунта, незаметный для мореплавателей.

Намереваясь пересечь ось канала, перейти на его южную сторону и двинуться к восточной части Петергофа, он, подходя к бровке, разогнал яхту и положил ее почти параллельно воде, чтобы наискось пересечь северную гряду.

То ли он рано выправил крен, то ли в этом месте землечерпальщики наворотили целую гору, но только яхта, вставая, с силой врезалась килем в грунт и резко осела, как взнузданный конь… Удар, сопровождавшийся треском, оказался

настолько сильным, что чуть не вынес мачту за борт. Потеряв верхнюю часть стеньги и гик, выломанный у самой пятки, мачта, почти оголенная, косо торчала над водой.

«Дракон» так и не встал, а остался с большим креном. Три или четыре раза повторились удары о грунт, и затем, в какое-то неуловимое мгновение, весь кокпит заполнился водой, и яхта затонула.

Неудачливый мореплаватель, выбираясь из-под накрывшего его грота и обрывков такелажа, так и не успел понять, залило его волной или в днище образовалась пробоина и разошлась обшивка. Собственно, в тот момент это не было так важно и представляло только профессиональный интерес. Летучий голландец, уже погружаясь в воду, успел взобраться на козырек над кокпитом и встал во весь рост, прижимаясь к мачте, — корабль, потерпевший крушение, почему-то оседал под его ногами и довольно быстро сползал на глубину.

Волна периодически перекатывалась через голову, с которой уже давно снесло фуражку.

Еще через минуту над рейдовой толчеей трех-четырехбалльной волны торчала только скривленная мачта «Дракона» с остатком стеньги. Очевидно, яхта сползла в канал, зарывшись фальшкилем в ил у самой бровки.

Стоять по пояс в холодной воде, держась за качающуюся мачту, когда периодически обкатывает с головой и непрерывно продувает, было не очень весело.

Близко — никого. Пока заметят и подойдут, хватит ли запаса тепла и силы в ногах и руках, чтобы выстоять?

Спокойный обзор показал, что в метре над головой качаются вместе с мачтой две пары металлических краспиц. И хотя их ванты противно обвисли и явно не работали, решение пришло сразу: влезть и сесть на нижние краспицы, обняв стеньгу; ведь неизвестно, сколько еще времени будет погружаться «Дракон» в ил днища канала.

И вот, затратив колоссальные усилия, Летучий голландец забрался на перекресток краспиц, оседлал их, навалился всем телом на стеньгу с наветренной стороны и обхватил ее руками.

Руки и ноги отдыхают. В первый момент холоднее, чем в воде, но все же появилось какое-то чувство удовлетворения — что-то сделано, увеличился кругозор, да и его самого со стороны лучше видно. На этом обнадеживающие мысли кончились, так как никакой помощи не было видно.

Привычка заставила машинально взглянуть, который час, хотя это и не имело никакого практического смысла. Оказалось, что ручные часы превратились в своеобразный ватерпас: под

треснувшим стеклом была вода и трепетно бегал большой воздушный пузырек.

Острый холод начинал все сильнее пронизывать тело, абсолютно мокрое и обдуваемое неутомимым норд-норд-вестом.

Этот сырой холод, от которого стучали зубы, становился главной пыткой, по сравнению с которой краспицы, врезающиеся в зад, и непрекращающееся раскачивание казались пустяковыми неудобствами.

Отдельные волны почти с отчетливой периодичностью облизывали брюки до колен и сменяли потеплевшую воду в ботинках холодной.

Раскачивание мачты показывало, что яхта стоит на грунте нетвердо, а это угрожало неприятностями, если изменится или усилится ветер и волна. Но пока непрерывная качка так начинала убаюкивать, что появлялась новая опасность — задремать и свалиться.

Чайки, лающие иногда над самым ухом, не разгоняли дремоты, похожей на ту, что бывает у замерзающих в снегу.

Надо было осмотреть весь горизонт, но уже не хватало сил повернуть назад голову. Ведь не могли же не заметить затопления яхты на постах и маяках!

Интересно, откуда подоспеет первый катер?

Традиция и самолюбие побуждали подготовить шутливую фразу, которой он встретит спасителей. Невольно вспоминался лейтенант с «Абукира», который, в третий раз будучи вытащенным из воды, изрек что-то вроде: «Благодарю вас, я уже принял свою утреннюю ванну»[13].

Но не получалось не только веселой шутки, но даже ее суррогата; оцепенение от холода уже сковало не только все тело, но и мысли.

Когда остекленевшие глаза на короткое мгновение опять начали различать гребешки волн, он сообразил, что гик вместе с гротом, распутав обрывки такелажа, оторвался и сдрейфовал по ветру. Когда и как, он не заметил.

С момента крушения прошло не менее получаса, даже с поправкой на кажущееся медлительным течение времени в подобных случаях. Да, не менее тридцати — сорока минут, хотя все клетки тела вопят, что это испытание холодом и водой длится более двух часов.

Но если за тридцать — сорок минут не подошел с базы или из Рамбова ни один катер, это означает, что аварию яхты не заметили, как не замечают его сейчас, в белом кителе на фоне белых гребней волны. Следовательно, остается рассчитывать только на рейсовый кронштадтский пароход, или на случайного

рыбака, или яхтсмена.

Случай — вот что только может спасти.

Мысль эта была малоутешительной, так как до темноты оставалось около часа с минутами, а силы Летучего голландца слабели. Даже челюсти свело намертво, и зубы уже не стучали.

Все окрасилось в мрачные тона. Теперь уже было не до острот.

Холод пронизывал судорогой все тело, появились опоясывающие боли, сжимавшие стальными обручами грудь так сильно, что захватывало дыхание, и казалось — останавливалось сердце. Эти спазмы, сперва редкие, стали учащаться.

Но, пожалуй, самым опасным все же было нарастающее оцепенение. Ни голода, ни усталости. Ни одного звука. Неумолкающий шум волны, сначала заглушавший все, даже крики близких чаек, теперь перестал восприниматься. Мысль работала не непрерывно, а периодически, отрывочно, теряясь в каком-то невидимом тумане и вновь возникая из него.

Голова его упиралась в стеньгу, в поле зрения были только пробегающие под ним волны с появляющимися и исчезающими барашками. Но это непрекращающееся мелькание временами сливалось в сплошной колеблющийся полог, сквозь который уже ничего нельзя было разглядеть.

Просвет в мыслях. И вдруг стала ясной горькая истина. Он вышел в море, чтобы проветриться и забыть о визите Венкстерна, но оказалось, что не смог далеко уйти от преследовавших химер.

Только час, а может быть, два, как он ни разу не вспомнил о мрачных происшествиях на берегу.

Но какой ценой! Нужно было крушение яхты, чтобы он их забыл.

Тем более плохо то, что эта передышка кончилась. Раз бегло мелькнувшая, на одно мгновение, мысль уже не оставит его, и он, очевидно, не сможет отделаться от наваждения, пока не свалится в воду.

6

Теперь только отдельные, особенно высокие волны достигали колен Летучего голландца. Инстинкт подсказывал, что главное в данный момент заключается в том, чтобы, навалившись грудью на наклоненную и раскачивающуюся стеньгу, обхватив ее переплетенными руками, удержаться во что бы то ни стало, даже если совсем погаснет сознание.

А такое состояние полной прострации, очевидно,

приближалось, так как слитный мучительный шум в голове возрастал, провалы памяти удлинялись, а открытые глаза периодически затягивались мутной пеленой или сквозь мелькание радужных кругов рождали какие-то бесформенные миражи.

В один из моментов просветления из-за левого плеча медленно вполз в поле зрения неподвижного Летучего голландца большой пароход и лениво стравил якорь всего в ста или в полутораста метрах.

Первая мысль — мираж, галлюцинация, обман застывающего мозга.

Летучий голландец с трудом сомкнул веки и вновь открыл их. Но мираж под норвежским флагом не рассеивался и начал спускать спасательную шлюпку. Тогда Летучий голландец вспомнил, что видел столб дыма далеко за горизонтом, когда выходил из Лесной гавани. Теперь источник дыма его нагнал.

«Спасен…» Эта мысль возникла в сознании как-то спокойно и уверенно. Ни для каких эмоций в застывшей душе не оставалось места.

Спасители гребли недружно, враздрай, как гребут на всех «купцах» мира.

По мере приближения неуклюжего и тяжелого вельбота Летучий голландец мобилизовал все духовные и физические силы и только сейчас обнаружил, что он настолько застыл, что не владеет ни руками, ни ногами и сам сойти с салинга не сможет. Попытка встретить спасителей улыбкой не удалась.

Норвежский боцман, стоя на кормовой банке, зажал румпель между ног и балансируя на качке корпусом и руками, орал в малый мегафон:

— Una momenta!

— Ein moment!

— In a minute right now![14]

Он, видимо, считал необходимым подбодрить пострадавшего.

Когда матрос с носовой банки забросил фалинь вокруг мачты «Дракона», произошло нечто неожиданное. Седой человек в белом кителе, сидящий на стеньге, мокрый насквозь, отказался спускаться в шлюпку.

В уме Летучий голландец все повторял: «Спасен!» — но в то же время, стараясь кричать изо всех сил, сипел натужным голосом: «К черту… Ступайте, куда шли!.. Оставьте меня в покое!»

Никакие иностранные фразы не шли на ум; к тому же он лучше других знал французский язык, который сейчас был явно не к месту.

Вельбот подпрыгивал на волне, головы гребцов то достигали ботинок Летучего голландца, то проваливались глубоко вниз.

Советский лоцман, взятый в шлюпку то ли переводчиком, то ли свидетелем, попытался выяснить, в чем дело.

Почти по слогам, мучительно напрягаясь, Летучий голландец разъяснил:

— Скажите им, что я в своем уме… Заключил пари высидеть здесь три часа… после чего меня снимут… Пусть убираются к черту!

— Что он там плетет? — Ответ лоцмана не удовлетворил норвежца. Он выругался на всех портовых слэнгах мира и заревел: — Не понимаете, что он свихнулся? Какое там пари?! Его надо стащить и взять на судно… Разве вы не видите, что он без сил и свалится в воду?

Привыкший командовать, боцман развернул вельбот и, очутившись под Летучим голландцем, одной рукой удерживаясь за мачту яхты, другой схватил его за ногу и стал бесцеремонно стаскивать вниз. Однако в следующее мгновение спасаемый, сделав огромное усилие, дрыгнул ногой и припечатал каблуком кисть руки своего спасителя к мачте.

Боцман взвыл от боли и, отпустив руки, грохнулся на рыбины качнувшегося вельбота, проклиная «этого сумасшедшего русского».

А русский, истощив свои силы в ударе, замер в прежней позе, повторяя про себя: «Спасен… Спасен…»

Капитан «Святого Роха» навел, как пушку, свой большой мегафон на живописную группу у «живой вешки» и заорал:

— Боцман! Какого дьявола вы там возитесь?

— А он сопротивляется и не хочет.

— К дьяволу! Тащите его силой!

— Это офицер, сэр, и, судя по нашивкам, не меньше кэптэна, сэр!

— Тем лучше! Мы получим за него премию!

— Ничего вы не получите, сэр, так как он заключил пари и хочет еще сидеть.

— Тогда пошлите его к дьяволу и марш под тали!

Советский лоцман понимал все переговоры и в то же время ничего не понимал, но, взглянув еще раз на застывшую мучительную гримасу Летучего голландца и искренне беспокоясь за его судьбу, крикнул:

— Хватит у вас сил высидеть?.. Наблюдают за вами?

— Да, да! С большого маяка, что у меня за спиной… Там жюри…

Боцман-норвежец не мог больше вслух выражать свои мысли,

он сидел, насупившись и засунув в рот ушибленный большой палец. Пропала мечта получить медаль «За спасение на море», поэтому он был вдвойне зол. Свободной рукой он сделал жест, чтобы отдали фалинь и навалились на весла.

Когда вельбот двинулся к «Святому Роху», с судна последовал еще один вопрос:

— На какую сумму заключено пари?

Советский лоцман отрепетовал вопрос и тем же порядком передал еле расслышанный ответ:

— Тысяча рублей!

— Тысяча рублей! Это здорово, дьявол его забери!.. Но я все же не согласился бы так рисковать, если рядом не стояла бы все время спасательная шлюпка. — И после небольшой паузы: — А все-таки свинство, что мы не оставили этому полоумному фляжку с ромом… Впрочем, к дьяволу! Наверное, это невозможно по условиям состязания. С фляжкой рома значительно легче высидеть. А?.. Запишите все в вахтенный журнал, и пусть русский лоцман засвидетельствует, а то с ними, ну их к дьяволу, потом хлопот не оберешься. Еще оштрафуют за остановку в запрещенном районе…

Три-четыре минуты, а может быть, и все десять — и тяжело груженный «Святой Рох» медленно развернулся и, войдя в Морской канал, стал так же медленно удаляться в сторону Ленинграда.

Может быть, с ним уходила жизнь?

То ли потеря остатка сил от вынужденного напряжения, то ли первые признаки, подсказывавшие, что надвигаются сумерки, то ли вечернее похолодание беспощадного ветра, а вернее всего, безвозвратно удаляющийся силуэт парохода дали закрасться в душу Летучего голландца тоске и сомнению в исходе дня. Но, несмотря на сомнение, какой-то метроном механически отстукивал в мозгу слово «спасен».

Искусство наблюдения обстановки на море, так же как и в воздухе, требует, кроме выдержки и дисциплины, определенного комплекса навыков. Но как и во всяком другом деле, и в частности на примере гибели «Дракона», успех не всегда гарантирован. Возможны ошибки или просчеты даже при наличии многослойного наблюдения.

В данном случае решающую роль сыграли два фактора. Первый — психологический, так как сигнальщики больше привыкли смотреть на запад, в сторону подходов к Кронштадту, то есть вперед! В то время как пеленг, по которому последний раз были видны паруса «Дракона», оказался обращенным на восток, к

Ленинграду, как бы *назад* от плотной линии фортов, постов и маяков. Это не оправдывает просчета системы, но частично объясняет его. Второй фактор — чисто оптический: рассмотреть издали пятно белого кителя на фоне белых гребней волн, почти достигавших этого пятна, очень трудно. (Все посты были расположены выше пострадавшего, поэтому он проектировался не на горизонте, а на поверхности залива.)

Однако умение наблюдать — только полдела. Оно должно сочетаться с умением зафиксировать наблюдаемое событие, то есть записать и передать туда, где сосредоточивается и анализируется вся информация.

Наблюдение за «Святым Рохом» привлекло внимание к вельботу, а когда последний подошел к месту незамеченного потопления яхты, сигнальщики не могли не заинтересоваться возней с человеком на «вешке» — так представлялась мачта «Дракона» наблюдателям, рассматривавшим ее при помощи оптических приборов.

Остановка «купца» в неположенном месте сразу вынудила зашевелиться на всех постах и маяках, вызвать подвахтенные смены и усиленно протереть глаза, визиры, трубы и бинокли. Однако не видевшие начала происшествия не поняли продолжения из-за его необычности. Вот почему немного погодя во многих «журналах наблюдений» постов, маяков и комендатур появились записи, различающиеся по синтаксису и стилю, но почти идентичные по содержанию:

«18 ч. 15 м. Пароход „Св. Рох“ под норвежским флагом, водоизмещением около 8000 тонн, следуя с генеральным грузом в Ленинград, прошел траверз Кронштлота.

18 ч. 30 м. „Св. Рох“ застопорил машину и стравил якорь в запретном районе, у входа в Морской канал. Спустил вельбот с подветренного борта.

18 ч. 40 м. Высадил человека на вешку у входа в канал.

18 ч. 55 м. Поднял вельбот, снялся и следует дальше».

……

Одновременно с записью в 18 часов 30 минут начался перезвон многочисленных телефонов флота, крепости, пограничной охраны НКВД, охраны рейдов, морского пароходства и многих других органов, так как отдача якоря «купцом» в неположенном месте являлась чрезвычайным происшествием.

Эта телефонная кутерьма шла по восходящей линии, через все инстанции, от сигнальщиков до начальников соответствующих штабов. Сперва с пометками «срочно», потом «весьма срочно» и, наконец, «вне всякой очереди!».

В дальнейшем механизм выполнения соответствующих

инструкций сработал нормально.

В гавани Рамбова по пирсу бежала команда пограничного катера, и через десять минут затарахтели по очереди запускаемые моторы.

В Кронштадте через Петровский парк промчался высокий лейтенант, на ходу застегивая кожаное снаряжение с кобурой. С ходу спрыгивая в катер ОВРа[15], он крикнул старшине, пожилому боцману:

— Отваливай!

Еще спасательная шлюпка не была завалена на бот-дек удаляющегося норвежца, как от угла Военной гавани показался большой белый бурун рейдового катера ОВРа, спешившего к месту происшествия. К сожалению, этот очень мореходный и видавший виды кораблик не мог выжать больше восьми-девяти узлов и оторваться от своего собственного чадящего выхлопа за кормой, который преследовал катер, идущий по ветру.

Старый боцман катера не сразу сообразил, кто и почему посадил советского командира на своеобразный кол, но задачу свою он понял мгновенно и действовал точно и сноровисто, так, будто привык ежедневно снимать капитанов 1-го ранга с мачт, торчащих из воды.

Заметив, что открытые глаза застывшего ничего не видят, а уши ничего не слышат, боцман не спеша, но экономя каждое движение, сделал из бросательного конца нечто вроде лассо и, отойдя на корму своего катера, метнул конец так, чтобы запутать его на стеньге выше головы Летучего голландца. После этого боцман поманил пальцем лейтенанта и моториста, и они втроем стали осторожно пригибать стеньгу яхты к катеру, с таким расчетом, чтобы спасаемый не свалился мимо них в воду.

Когда стеньга, склонившись немного, остановилась, так как с этой стороны яхту, по-видимому, удерживало невидимое препятствие под водой, старик произвел перегруппировку.

Теперь катер развернулся в сторону Ленинграда. Тянули энергичнее, с неизбежными рывками из-за волны, на которой танцевал пузатый кораблик. Но… «раз-два — взяли» командовалось только в те моменты, когда Летучий голландец нависал непосредственно над кокпитом. Несмотря на свежий ветер, все трое распарились, взмокли от усилий и тяжело дышали.

Мачта в виде некой стрелки немыслимого подводного прибора спустилась еще градусов на пятнадцать — двадцать ниже к поверхности воды. Благодаря этому Летучий голландец вместе со стеньгой располагался почти параллельно воде и не падал

только потому, что закоченел и застрял негнущимися ногами в краспицах.

Наконец, как перезрелый плод с дерева, он свалился на три пары рук и далее на рыбины катера, где предусмотрительным боцманом были подстелены два бушлата, пробковый матрац и кожаные подушки с сидений.

Необычная стрелка рванулась в прежнее положение, а пострадавший, белый и бледный, беззвучно лежал на боку под ногами своих спасителей, все еще сохраняя позу как бы сидящего и обнимающего уже выскользнувшую стеньгу «Дракона».

Истощивший остаток жизненных сил на диспут с иностранными оппонентами, Летучий голландец был почти без сознания. Вот почему первый строгий вопрос лейтенанта: «Отвечайте! Что вас побудило?» — остался без ответа.

— Чудак! Чего ты его пытаешь, когда он застыл, как сосулька? Убери свою пушку и лучше семафорь на пост, чтобы к пристани скорую помощь выслали.

— Когда ж он успел застыть, если десять минут как высажен с транспорта?.. Маскировка!..

Но боцман, по форме и полировке стеньги и наличию краспиц уже давно сообразивший, что они спасают незадачливого яхтсмена и своего человека, со злостью огрызнулся:

— Дурак ты, да еще незамаскированный!.. Делай, что тебе говорят! Лучше бы аптечку с собой захватил!

Поскольку боцман не имел права так разговаривать с молодым офицером, последний начал соображать, что, по-видимому, происшествие не совсем похоже на то, которое родилось в его воображении на основе донесений постов.

Изрядно раскисший бумажник, извлеченный из заднего кармана брюк спасенного, разогнал последние сомнения. Теперь лейтенант корил себя за то, что не сразу опознал искаженное лицо начальника БП, которого видел где-то на учениях. Почувствовав себя опять частицей большого механизма управления флотом, он стал торопить боцмана, ругал на все лады катер, его мотор и моториста за черепаший ход, как он делал это час назад, но уже по другим мотивам.

Тем временем то тут, то там стали зажигаться маяки и портовые огни. Хотя еще не наступила полная темнота, но по инструкции начали мигать, затемняться, делать проблески то белые, то зеленые, то красные огни. Жизнь шла своим чередом.

Из числа всех средств передвижения и должностных лиц, примчавшихся на пристань Петровского парка, оказались кстати только машина скорой помощи и доктор. После самого беглого осмотра больного флотский медик с силой разжал его челюсти и

влил порцию спирта, затем, закутав в два одеяла, настоял на немедленной отправке в госпиталь.

Да, настоял… так как предложения были разные, а очутившийся некстати какой-то чин, не осведомленный о событии, настойчиво требовал тут же, на земле, применить «к утопленнику» искусственное дыхание.

Действительно, мокрый насквозь и бледный капитан 1-го ранга больше всего походил на вытащенного из воды.

Не подозревая того, Летучий голландец в этот день выступал в ролях: беглого, человека, заключившего сумасбродное пари, шпиона-диверсанта и, наконец, утопленника.

7

В это же время на фарватере Морского канала происходило следующее.

Катер пограничной охраны, мчавшийся на пересечку курса норвежского парохода, с грохотом подлетел с правого борта почти вплотную и, уравняв свой ход с нарушителем, держался против его мостика. С катера что-то крикнули в мегафон, но все заглушала пальба трех двигателей, отрабатывающих в воду, усиленная резонансом от громадного экрана, каким служил борт «Святого Роха».

Контролер, поднявшийся на судно вместе с лоцманом у приемного маяка и ни на минуту не сходивший вниз, не отрываясь от бинокля, смотрел на то, как снимали Летучего голландца с стеньги. Теперь он перешел на правое крыло капитанского мостика и рукой показал на бортовой выхлоп катера.

Через минуту включенные глушители позволили расслышать:

— Почему останавливались в запрещенном районе?.. Почему не подняли сигнал? — Это было сказано резким и повелительным тоном.

Пока старший помощник совместно с нашим лоцманом переводили капитану смысл грозного окрика, контролер спокойным голосом крикнул в малый мегафон:

— Слышь, браток, не бузи! Порядок! Топай в Рамбов!

Капитан, злой как фурия, так как потерял зря время и премию, о которой мечтал, а тут его еще допрашивают, заорал на помощника:

— Кристиан! Что наш ангел-хранитель передал на катер?

— Капитан, я ничего не понял!

— Так какого дьявола вы на все Осло треплетесь, что знаете

русский язык? И даже за это получаете надбавку от какого-то ведомства? А?

Помощник беспомощно оглянулся, отыскивая глазами лоцмана, но тот счел за благо укрыться в рубке.

— Я полагаю, что он… говорит на каком-то южном диалекте, а я совершенствовался на северных говорах…

К счастью для знатока русского языка, пограничный катер, не ожидая ответа на свои вопросы, увалился в правую сторону на манер пристяжной, а затем, красиво описав половину циркуляции, рванулся назад, опять загрохотав выхлопом всех моторов. Увидя это, капитан сразу остыл, пробурчав себе под нос:

— Никогда не поймешь этих проклятых русских.

Обиженный помощник шепотом пожаловался вахтенному:

— Не прощу себе, что не сообразил сбегать в каюту за «лейкой»!.. Ведь за такой снимок можно было бы отхватить немало долларов от представителя американского журнала «Лайф»!

— А этот ангел-хранитель конфисковал бы вашу «лейку» вместе с пленкой!

— Нашли дурака! Я бы щелкнул из иллюминатора румпельного отделения.

8

Старший и очень старый врач Кронштадтского морского госпиталя так докладывал прибывшему флагману, пока они шли длинными коридорами двухвековой давности:

— Травматических повреждений не обнаружено. Большая потеря сил. Временная перегрузка сердца. Но главное — в возможных последствиях переохлаждения, особенно для легких. Пока опасных симптомов не заметно. Однако приходится считаться с тем, что картина затемнена, так как еще до поступления в госпиталь больного начали лечить большими дозами спирта… Внутрь, конечно. Впрочем, возражать не приходится, ведь транспортировка была длительной, а каждая минута имела значение. Сейчас, после инъекций, теплой ванны и других процедур, больной опять попросил коньяку, и я разрешил, поскольку он не имеет еще аппетита, а ему необходимо усиленное, стимулирующее питание.

— Правильно сделали!

Действительно, уже входя в небольшую палату, можно было убедиться, что в воздухе носятся не медикаментозные запахи, а аромат армянского коньяка, бутылка которого красовалась на

столике между наивными пузырьками вместе с симпатичной мензуркой.

На подушке лежала белая голова Летучего голландца с лихорадочно блестевшими глазами. Улыбаться немного наискось и не совсем уверенно он уже научился, чем и выразил свое удовольствие при виде входящего начальника. На большее он пока не был способен.

Когда Летучий голландец остался вдвоем с адмиралом, произошел следующий диалог.

— Послушайте, Озаровский, зачем вы так рисковали здоровьем? Почему не позволили вас доставить до Ленинграда? Ведь на «Святом Рохе» вы получили бы и теплую ванну и такой же эликсир ямайского происхождения. Пожалуй, покрепче «Армении».

Ответы Летучего голландца были еле слышны.

— Докладываю. Потому, что иногда очень трудно доказать, что ты не верблюд!

— Отнесем эту пожилую остроту к последствиям лечения. Но меня такой ответ не удовлетворяет.

— Уточняю! Мне во что бы то ни стало надо завтра утром, в обычное время, появиться на работе… Нельзя, чтобы от моей глупости страдало дело; а «срочное погружение» произошло из-за глупой ошибки… В отделе БП есть командиры моложе меня, они должны видеть, что служба, работа — прежде всего.

— Ну вернулись бы в Кронштадт к вечеру, в крайнем случае завтра. Невелика потеря — сутки!

— Вы плохо считаете, дорогой адмирал… Мне пришлось бы писать объяснение: когда и как было задумано это рандеву с иностранными агентами, что именно да за сколько я продал из наших оперативных планов, пока транспорт двигался по каналу. Ни сегодня, ни завтра я не смог бы появиться на работе.

— Вы, конечно, преувеличиваете, но, пожалуй, на выяснение могло уйти время. Я об этом не подумал. Ну ладно! Оставим эту тему. Но скажите честно, не слишком ли вы рисковали, отказавшись от помощи норвежца, учитывая потерю сил и наступающие сумерки?

— Нет, дорогой адмирал! С момента, как «Святой Рох» отдал якорь, несмотря на то что голова работала плохо, я все же понял, что спасен… Для этого мы с вами достаточно хорошо знаем психологию и любопытство даже плохих сигнальщиков.

— Да! Все это происшествие не очень-то хорошо аттестует нашу СНиС. Скажите, а откуда появилась идея о заключенном пари?

— Сам не знаю. Еще за минуту до остановки норвежца ничего

подобного в голове не было. Я сидел лицом по ветру, в сторону наклона стеньги. Он появился абсолютно внезапно, из-за спины. Очевидно, мысль о пари возникла так же внезапно, пока приближался вельбот.

— Да! Это называется находчивостью! Ну что ж, если обойдется без воспаления легких, то, пожалуй, вы действительно выиграли это пари. Желаю здоровья. Запрещаю вам завтра появляться на службе. Да вас и не выпустят отсюда.

— Не забудьте, что здесь командуете не вы!

Летучий голландец глубоко уважал известного всему флоту старого доктора, и все же у них не получилось сердечного разговора, когда больной заявил, что утром, полдевятого, он поедет на работу.

— Помилуйте! Даже если не поднимется температура, мы предполагаем еще два-три дня применять теплые ванны, общий массаж, усиленное питание при непрерывном наблюдении за сердцем. Только после этого, и то при условии…

— Знаю! При условии, что выздоравливающий будет подогревать себе седалище паяльной лампой и смазывать поясницу и другие места каустической содой?! — со злостью выпалил больной.

Старик поднялся и с достоинством вышел из палаты.

Летучий голландец раскаивался в этой вспышке, но понял, что по-хорошему вряд ли удастся отсюда уйти.

Пока созревал план бегства, он начал учиться ходить по палате и делать легкую гимнастику.

Сестра, которой доверили уход за ним, очень гордилась своим романтическим «стационарным больным». Но после того как Летучий голландец проспал три часа и впервые плотно закусил, выяснилось, что он не считает себя ни больным, ни тем более стационарным.

Когда сестра официально уведомила его, что брюки и прочие принадлежности сданы в цейхгауз, он вспомнил двукратный опыт бегства из госпиталей во время гражданской войны, причем в более сложных условиях, после чего все свое обаяние затратил на то, чтобы уговорить сестру позволить ему переговорить по телефону «по служебной надобности».

Дежурному офицеру (учитывая любопытство сестры) он, пользуясь историческими прецедентами или аналогиями, вперемежку с безобидными фразами, дал указание, как проникнуть в его квартиру, забрать «форму № 2» и доставить ему к шести часам утра, до момента начала официального рабочего дня в госпитале.

— Скрытый прорыв блокады буду рассматривать как более

эффектный, чем проход «Гебена» и «Бреслау» в тысяча девятьсот четырнадцатом году.

Наутро сестра возненавидела своего романтического больного, так как получила выговор за его исчезновение.

9

Да, Летучий голландец в обычный час вошел в свой кабинет, приветствовал подчиненных, после чего с подчеркнутой педантичностью выполнил всю ритуальную процедуру, прежде чем сесть за рабочий стол. Однако осипший голос, красные глаза и очень утомленное выражение лица, которое не удавалось скрыть, выдавали перенесенное напряжение.

Прошло изрядное количество дней.

«Дракона» подняли и отремонтировали. У его капитана начали исчезать следы жестокого бронхита, все же развившегося, хотя и с опозданием, и врачи не разрешали ему выходить на яхте, тем более что балтийская осень вступила в свои права.

Изредка, когда для этого были основания, невольно вспоминался разговор с Венкстерном. Но Летучий голландец самозабвенной работой отгонял мрачные мысли.

И вот, когда казалось, что жизнь и работа вошли в свою нормальную колею, однажды утром выяснилось, что Летучий голландец исчез. Конечно, правильнее будет сказать, что исчез капитан 1-го ранга Озаровский.

Ошеломленным его помощникам начальство предложило спокойно работать, — мол, «у человека, у которого чистая совесть…» и так далее.

Как дурной, кошмарный сон, как тяжелую болезнь с возможным смертельным исходом, перенес Летучий голландец происшедшее. Он вернулся хотя и постаревшим на много лет, но не усомнившимся ни на минуту в сознательно избранном в Октябре пути. Он вернулся согнутый, но не сломленный. Утомленный, слабый, но жадный к работе.

Еще не сменив истлевшего белья и протертого кителя, он явился с просьбой о назначении на флот, на корабль.

Ему повезло по сравнению с некоторыми другими, потому что он явился до 22 июня 1941 года. Вот почему, когда обрушилась на всех нас война, он с первых же дней нашел свое место. Как всегда собранный, Летучий голландец поднялся на мостик канонерской лодки «Бурея».

Долгими и томительными ночами он готовил себя к смерти

или к большой войне, потому что у него оказалось более чем достаточно времени обдумывать свою судьбу и судьбу советской Родины.

Мобилизованная из технического флота шаланда «Бурея», получив пушки, снаряжение, команду и капитана, вышла из Ленинграда вверх по Неве и включилась в состав соединения канонерских лодок в тот грозный период, когда фашистские броневые клинья пробивались к городу Ленина, чтобы раздавить, разрушить и уничтожить его.

Все знают о так называемой «Дороге жизни», которая спасала стойких защитников и помогала эвакуировать раненых, слабых или более нужных на Урале. Но эта дорога через Ладожское озеро, героика творцов которой еще не воспета достойно, действовала только тогда, когда устанавливался прочный лед. И мало кто знает, что все остальное время года — сквозь осенние штормы и льды 1941 года, через весенние штормы и льды 1942 и 1943 годов — дорогой жизни служила та же, но не ледовая, а водная трасса. Муки и снарядов на баржах, буксирах, пароходах и на канонерских лодках было перевезено в сумме больше, чем мог перевезти автотранспорт.

Защищали эту коммуникацию канонерки во главе с «Буреей», очень часто из боевых кораблей превращавшиеся по совместительству в грузовые транспорты или плавучие госпитали, и тогда из-за тесноты очень трудно было работать у зенитных пушек и пулеметов.

Уже с первых дней войны Летучий голландец совмещал командование «Буреей» с должностью командира соединения канонерских лодок в составе Ладожской военной флотилии.

Вот уже за «Буреей» зачтен сбитый «юнкерс».

Вот уже первое «спасибо морякам» с берега от армейцев, после артогня, заказанного батальоном, выходящим из охвата у Рауталахти.

Дважды высаживали с канонерок тактические десанты в помощь фланговым частям дивизии полковника Бондарева.

Первое ранение Летучего голландца в эту войну, первая перевязка с «оставлением в строю».

Заделаны первые пробоины в борту от осколков близко упавших бомб.

Благословения ленинградских матерей, благополучно доставленных и высаженных с детьми в Новой Ладоге.

Благодарность от начальника тыла фронта за баржу с мукой для осажденных, спасенную после гибели буксира… И много, много подобного, которое уже стало буднями и вошло в

повседневность войны и часто даже не записывалось в вахтенные журналы.

Но один эпизод не только сохранился в памяти, но и врезался в душу.

Когда в двадцатых числах августа 1941 года одна из наших дивизий, прижатая к берегу, выходила после многодневных тяжелых боев со значительными силами немецко-финской армии к урезу воды Ладожского озера, Летучему голландцу пришлось, удерживая своим огнем особенно рьяных егерей, выводить из боя и эмбаркировать[16] смертельно утомленных красноармейцев.

«Бурею» обстреливала не только финская артиллерия, но и батальонные минометы вырвавшихся вперед частей и штурмующие самолеты противника. Несмотря на все это, Летучий голландец действовал спокойно и методично, как на учении. Он принял на борт все арьергардные подразделения дивизии генерала Крюкова, не оставив врагу ни одного раненого и ни одного пулемета.

Переправленные затем на остров Валаам, части дивизии были позже высажены на ленинградской земле, недалеко от захваченного немцами Шлиссельбурга. Вот тогда-то произошла следующая сцена.

На причале, перед фронтом солдат, стоящих против «Бурей», и перед ее экипажем, выстроенным вдоль борта, взволнованный командир дивизии обнял и поцеловал Летучего голландца. Слов почти не было.

По положению он не мог сам наградить командира канонерской лодки. Но этого и не требовалось, потому что Летучий голландец застенчиво, но совершенно искренне до самой смерти уверял, что он никогда так не волновался, получая другие награды.

Есть мужество — и мужество.

Слава нашим командирам, показавшим искусство управления лидерами и эсминцами, которые сплошь в пене от собственных винтов, разрывающих воду, маневрировали так, что волны всплескивались на борт при крутых разворотах.

«Пошли бомбы!» — должен был крикнуть, не теряя хладнокровия, сигнальщик, следящий за моментом, когда маленькие капли-точки отделялись от отваливающегося в сторону германского самолета. И вот тогда весь смысл и величие единоличного командования, отвечающего своей жизнью за жизнь сотен людей и за целость корабля, больше того — за флаг Советского Союза, вкладывались в секунды принятых решений. Тогда миноносец осаживал ход и начинал уваливаться в сторону, а немецкие бомбы с невыносимым воем и, визгом чудовищными

шлепками били по воде вплотную у борта или под кормой и дробным стуком осколков хлестали по мостикам, трубам и надстройкам. Кто забудет тот характерный, особый звук осколочных пробоин, который не могли заглушить даже свои зенитки или автоматические установки?

Через минуту — отворот от немца, атакующего с другого румба, и в промежутке голос из-под полубака: «Носилки!» или «Малый пожар на юте!»

Так было часто, утомительно часто на Северном флоте, на Балтийском; хотя возможно, что рекорд успешных отражений атак самолетов принадлежит эсминцам Черноморского флота, поддерживавших сообщение блокированного Севастополя с Кавказом.

Да, это море! Такое санитарно-гигиеническое, что с ним никогда не может сравниться земля. Оно поглощает очень быстро (иногда мгновенно) сбитые самолеты, взорванные корабли, залитые волной боты — и плотно смыкается. Без шва, без могильного холмика, так, что ни пузырьки воздуха, ни масляные пятна не дают возможности определить точку, в которой следовало бы поставить крест или обелиск большой братской могилы.

И их ставят, эти кресты или значки, довольно приближенно, но не на море, а обозначают на морских картах. А что касается самого моря, то оно может, после Трафальгара или Ютландского боя, быть очаровательным, красочным, а иногда и элегичным, как и подобает хорошему, благоустроенному кладбищу.

Есть мужество — и мужество.

Представьте себе Ладожское озеро, те же «Ю-88» и «Ю-87», с теми же скоростями, бомбами, навыками и обманными эволюциями, иногда группами не меньшей численности, чем в море, атакующими с разных румбов не могучие корабли, а старые озерные шаланды, после установки пушек переименованные в канонерские лодки.

Те же пятьдесят или сто товарищей (если нет на борту эвакуируемых); те же команды: «полный вперед» или «полный назад»; «лево на борт» или «право на борт».

Но только на Ладожском озере почти при том же водоизмещении и размерах кораблей сила машин была в сорок раз слабее; время перевода кулис с переднего хода на задний — в пять раз дольше, чем реверс турбин; и при почти одинаковой циркуляции поворотливость была сравнительно более медлительной из-за трудности перекладки руля. Люди принадлежали двадцатому веку, а техника — девятнадцатому[17].

(Механик одной из канонерских лодок, призванный по

мобилизации из землечерпательного флота, с самым серьезным видом просил командира заранее его предупреждать о предполагаемом изменении хода, так как в противном случае он не ручался за возможность исполнения команды с переднего на задний ход.)

На озере так же предостерегающе кричали сигнальщики: «Пошли бомбы!»; так же здесь перекладывали штурвал и звонили машинным телеграфом, но только в пять — десять раз медленнее. И вот почему здесь чаще требовали носилки, чаще тушили пожары и чаще заделывали пробоины.

Конечно, нечего и сравнивать такие канонерские лодки с современными кораблями (находились такие дурни, воспитывавшиеся на крейсерах, которые насмешливо называли их «лаптями», а то и «калошами»). Но одно верно: процесс отражения атак вражеских самолетов создавал тягостное ощущение страшного и безнаказанного избиения, особенно у тех, кто попадал в переделку на «Зее» или «Бурее» в первый раз. Так же казалось и со стороны, когда ожидающие погрузки, сжавшись в комок и остановив дыхание, следили за боем из щелей, вырытых на берегу. Казалось, что немцы издеваются как хотят над канонерками.

Казалось… Но только не Летучему голландцу и другим, ему подобным, храбрым командирам и их сподвижникам, которые совместно вырабатывали свои особые приемы маневрирования и огня, с тем чтобы путать расчеты «юнкерсов» и «хейнкелей».

Казалось… Но только не фашистским летчикам, которые удивлялись и не могли понять, почему они сами несут потери, *почти* накрывают бомбами эти «лапти», но утопить их не могут!

Чтобы хладнокровно выдерживать атаки неприятельских самолетов на тихоходных и медлительных канонерках и сохранять ясную голову для расчетов и управления, надо было иметь какие-то особые нервы и необычное мужество.

Но раз об этом зашел разговор, то необходимо для объективности упомянуть о прикрытии канонерских лодок нашими истребителями авиации Ленинградского фронта и Балтийского флота. Без самоотверженной защиты «ястребков» все они лежали бы на грунте и не смогли бы выполнять боевых задач, из которых главной являлось поддержание коммуникации осажденного Ленинграда с Большой землей по трассе Осиновец — Новая Ладога[18].

И невольно вспоминается Каспий, где впервые обнаружилось не только особое мужество Летучего голландца, но и его тактическое искусство.

Будучи командиром бывшего волжского буксира,

«тилипавшего» плицами бортовых колес, он никак не мог навязать боя англичанам, так как они блокировали подход к Астрахани на лучших винтовых танкерах, переоборудованных во вспомогательные крейсера.

Командуя дистанцией, как это называется в учебниках морской тактики, британцы каждый раз отходили и держались за пределами огня советских морских пушек, а затем смыкались на прежней линии. Блокада оставалась блокадой.

И вот тогда Летучий голландец, этот скромный и тихий в жизни человек, стал применять такой прием. Ночью, в полной темноте, прижимаясь к берегу, он обходил блокадную линию противника, заходя ему глубоко в тыл. А с наступлением рассвета, накопив до предела пар в котлах, пускался самым полным ходом (то есть семи-, максимум восьмиузловой скоростью) к себе домой, по кратчайшему расстоянию разрезая линию британского дозора. При этом всего три пушки стреляли беглым огнем с одного или с другого борта, распределяя свою «мощь» в зависимости от поведения неприятельских кораблей.

Интервентам волей-неволей приходилось отвечать на огонь, шарахаясь в обе стороны от безумца.

Два раза такой прием удался, и один из английских кораблей получил повреждение. Но во второй раз у канонерской лодки Летучего голландца был перебит штуртрос, и корабль начал описывать циркуляцию почти в окружении вражеских сил. Только дымовая завеса и страх британцев, заподозривших тут какую-то новую хитрость, позволили наспех срастить привод к рулю и выскочить из боя.

Рисковать в третий раз, когда враг понял этот прием, было бы безрассудно. К тому же Летучий голландец вовремя заметил, что не у всех его товарищей нервы из трехпрядного смоленого троса.

Была, однако, принципиальная разница в положении Летучего голландца по сравнению с периодом войны с английскими интервентами и белогвардейцами. Тогда он оставался в тени, несмотря на большие дела. Сейчас на Ладожском озере, от господства на котором в значительной мере зависела судьба осажденного Ленинграда, не только Летучий голландец, но и остальные офицеры и матросы военной флотилии, авиации, непобедимого Орешка и импровизированных портов (таких, как Осиновец, Морье, Кабона и другие) были известны в городе Ленина и на Большой земле. Поэтому их не только знали и любили вместе с их «лаптями», но и воздавали им должное.

Обычно по традиции в некрологах — а что иное этот рассказ,

как не запоздалый некролог? — под конец упоминается об орденах, заслуженных покойным. Скажем и мы, но не обо всех орденах и медалях, а только относительно тех, которые были заслужены после того, как капитан 1-го ранга Озаровский вторично начал свою службу во флоте.

Два ордена Ленина и три ордена боевого Красного Знамени — вот как высоко была оценена только с 1941 года боевая деятельность этого человека, поседевшего в борьбе с врагами нашей Родины и надорвавшего свое верное, немного младенческое сердце.

Надломленный организм постепенно угасал, и он умер 1 декабря 1950 года, прожив неполных пятьдесят пять лет. Но за этот период Летучий голландец прожил несколько жизней, и каждая из них была полна приключений, боев, ран, кораблекрушений и ЧП, которых с избытком хватило бы на нескольких героев.

Помню, как много-много лет назад Летучий голландец просил, чтобы в случае смерти его похоронили в море, с точным соблюдением старинного обычая: зашить в брезентовую койку, к ногам ввязать ядро и дать соскользнуть с доски, наклоненной у гака-борта.

Вышло иначе. Не упало его тело в кильватерную струю, как он того хотел.

Хмурым декабрьским днем товарищи проводили Летучего голландца на кладбище в Шувалове, ставшее его последней гаванью.

По традиции впереди на подушечках несли ордена.

И невольно вспомнилась маленькая бумажка — выписка из постановления о том, что «гражданин Озаровский Н. Ю. освобожден из заключения, восстановлен во всех правах и полностью реабилитирован, так как пересмотр его дела показал отсутствие состава преступления». Не будь ее, этой маленькой бумажки, не было бы у Летучего голландца возможности доказать, насколько он любил свою Родину. Не было бы и подушечек с двумя орденами Ленина и тремя орденами Красного Знамени и всех остальных, показывающих, как много он сделал во имя этой любви и насколько она была для него выше личных интересов и благополучия.

И последняя мысль.

Он умер от инфаркта миокарда после Победы, в условиях мирной жизни, со спокойной совестью, в кругу семьи, на лоне природы, в окрестностях родного морского города, пользуясь общим уважением и любовью.

Сидя под деревом, на свежем воздухе, за простым столом, он

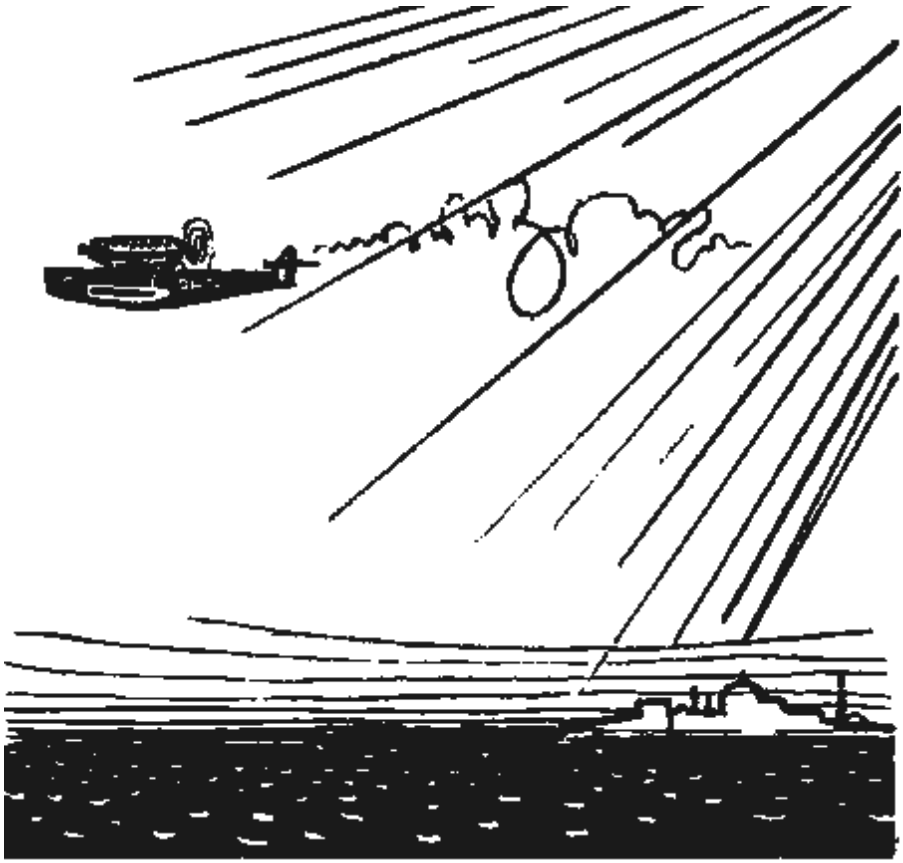
писал воспоминания «На Ладожском озере», надеясь потом вернуться к пережитому на море начиная с первых дней, когда он был очарован, отравлен этим морем на всю последующую жизнь.

И все же больно думать, что Летучего голландца, этого моряка с чистой душой, нет среди нас.

Сегодня ему бы исполнилось шестьдесят шесть лет.

Разве это так много?

Конец одной «девятки»



Почему комбриг Столярский сменил большую серебряную серьгу в левом ухе на чуть заметное тонкое колечко и зачем срезал свою «норвежскую» бороду, расползавшуюся веером от кадыка, отчего бритые губы и подбородок казались более голыми, — об этом придется рассказать в следующий раз. А пока достаточно знать, что мы по-прежнему очень уважали и крепко любили его в новом качестве экстраординарного профессора не меньше, чем на Волге, где он был начальником гидродивизиона и кроме пиратской серьги и бороды носил еще финку и маузер. (В те времена военморлет Станислав Столярский именовался чаще всего просто Стахом.)

Сегодня в факультетский кабинет Стах ворвался, как всегда, словно шквал — внезапно, порывисто и громко, заглушая всех, кроме самого себя.

— Кто пикирует? Много всплесков и брызг, но не вижу

попаданий! В чем дело?

Спорившие замолчали. Тогда нейтральный наблюдатель, который всегда предсказывал авиации блестящее будущее, но только при условии, что сам он будет находиться на твердой суше или на палубе корабля, выступил в роли комментатора:

— По-моему, потери есть с обеих сторон… Если позволите — я доложу. Вы, конечно, слышали о нашумевшем случае, когда какой-то летун ухитрился сигануть…

— Не какой-то, а летчик Чкалов! Не сиганул, а пролетел!

— Так точно, пролетел под Николаевским мостом…

— Лейтенанта Шмидта!

— Так точно… Так вот, ваш адъюнкт написал статью в специальный журнал, в которой пытается доказать, что этот пролет был не выражением ухарства или удальства, а… итогом предварительных соображений и расчетов, преследовавших определенную позитивную цель. Однако, зная наперед, что начальство такой эксперимент не разрешит, летчик рискнул на ЧП и… попал на гауптвахту. В данный момент перепалка произошла потому, что редакция возвратила статью с заключением, что, независимо от побуждений Чкалова, «публикация подобной статьи была бы непедагогичной», поскольку «вся молодежь хочет стать летчиками, а все летчики — Чкаловыми» и так далее.

— Ясно! Но это мнение редакции! А каково суждение грандов?[19]

Первым не выдержал «гранд», соглашавшийся с журналом:

— Я ему и говорю, что в редакции недостаточно серьезно оценивают события. Сейчас каждый мальчишка мечтает сразу стать Чкаловым, минуя скучный процесс пребывания в школах и в частях. Вот почему, — прочтя эту статью (кивок головой в сторону адъюнкта), многие пацаны начнут сигать с моста, прижав к животу учебник по аэронавигации того же автора, так как это пособие легче воздуха…

— Стоп! Это удар ниже пояса! Как старший, допускать подобное не могу…

Попытку покрасневшего автора учебника открыть рот Стах пресек движением руки:

— Не надо отвлекаться из-за обид. Случай слишком серьезный! — И голосом глуховатым, с своеобразной хрипотцой, но в то же время очень сильным он продолжал: — Чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет моей позиции в вопросе о педагогичности подобной статьи, скажу сразу: я целиком на стороне ее автора! Чкалов показал, что можно сделать с хорошей машиной — не обязательно под мостом. Такое может случиться

под высоковольтными проводами, в ущельях между скалами или проходя сквозь просеки — между деревьями… Мало ли где придется внезапно выкручиваться? Именно выкручиваться! Но главное — он показал, что может сделать летчик, в совершенстве владеющий самолетом, и на что может воодушевить летчика хороший самолет! К черту редакцию! Мы еще поговорим с ней! Кстати, под арками Троицкого моста еще летом тысяча девятьсот семнадцатого года пролетал несколько раз морской летчик Грузинов[20] на гидросамолете «М-9». Возможно, этот эксперимент повлиял на решение Чкалова, но равнять их нельзя. Грузинов был блестящий пилотажник, но увлекающийся «фокусник», за которым числилось несколько трюков, выполненных для «полировки нервов» вывозимых им учеников. Чкалов никого не втягивал в свой эксперимент. А сейчас, синьоры, признайтесь, кто из вас знает историю о том, как Борис Чухновский сдавал свою старую «девятку»? Непосвященных прошу остаться; остальных не задерживаю!

Дневные занятия в Морской академии закончились, но никто не встал. Все стали устраиваться поудобнее и хлопать крышками портсигаров.

— Подумать только!.. Почти невероятно!.. Такое собрание водоплавающих, ныряющих и пернатых, а меж тем эта весьма назидательная история, по всей видимости, никому не известна! Очевидно, тот же самый критерий «непедагогичности» задушил ее в зародыше, да так, что не только статьи или рассказа, но даже и устного предания не сохранилось!

Стах раскурил свою огромную пиратскую трубку и приступил к повествованию. Не желая задерживать своих коллег и сотрудников после рабочего академического дня, он изложил эту историю более лаконично, чем она заслуживала. Вот почему, записав основное, я в дальнейшем пользовался всяким случаем, чтобы пополнить рассказ об этом происшествии расспросами участников и свидетелей. Однако в моих расчетах узнать наиболее интересные подробности от самого виновника ЧП я оказался обманутым.

«Мне столько раз приходилось летать без разрешения, в том числе и на отслуживших срок или на аварийных самолетах, что случалось попадать в более тяжелые условия, чем в эпизоде, переданном Столярским. Возможно, поэтому сейчас не могу вспомнить подробностей этого происшествия».

Записи эти лежали в столе годы, изредка обрастая некоторыми деталями. И вот спустя почти сорок лет после самого события и почти тридцать лет после первой попытки его рассказать он наконец появляется в свет с включением некоторых

подробностей, о которых, возможно, не знал даже Стах Столярский.

В один прекрасный летний день…

Это не просто банальное вступление. День действительно был ясным и теплым, что не часто случается на Балтике. Но, кроме того, штилевая, солнечная обстановка понадобится нам для разъяснения происшедших событий.

Итак, весной 1923 года на Ораниенбаумской гидроавиастанции с утра начала работать техническая комиссия, чтобы определить категорийность самолетов и моторов воздушной бригады Балтийского моря и исключить из списков те планеры и моторы, которые по причине износа или аварий уже «не лезли ни в какую категорию».

Назначение подобной комиссии было для морских летчиков важным событием. Ведь новые советские машины не поступали уже много лет, а за границей приобретались пока единицы, почему списание непригодных безжалостно уменьшало состав гидроавиации РСФСР.

Для многих комиссия оборачивалась проклятым вопросом: летать или не летать?

Еще несколько лет назад на каждом флоте, в любой речной или озерной флотилии были (и не только были, но и неплохо воевали) свои гидроотряды, гидродивизионы и даже бригады.

Именно Ораниенбаумскому (первому) гидродивизиону пришлось после немцев и англичан бомбить в 1919 году восставших на форту Красная Горка и совсем недавно участвовать в операциях против кронштадтских мятежников.

А сегодня? Куда податься, если на каждый залатанный самолет по два-три экипажа, а кроме того, десятки «безлошадных» летчиков?!

Нет, так ставить вопрос нельзя.

Есть куда податься. Куда душа хочет. И в состав гидрографических экспедиций; и со зверобоями на тюленей и моржей; и для обеспечения плавания «купцов» в устья северных рек. А транспортное обслуживание северных факторий или… курортных линий? В общем, задач — сколько хочешь!

Но на чем?

Самолета, вернее, отечественного гидросамолета нет. А тут еще эта комиссия!

Почтенного вида председатель по тучности, плавности движений и бороде, бесспорно, отвечал всем внешним признакам авторитетного специалиста. Старая флотская фуражка и китель

со следами отпоротых знаков принадлежности к… «их превосходительствам» нисколько не умаляли, а еще больше подчеркивали весомость технического авторитета.

Два-три летчика и инженера старой формации из бывших «богов» балтийской авиации. Два-три пилота и авиамеханика новой формации из бывших авиамотористов и будущих «богов» советской авиации.

Комиссию удачно замыкал молодой секретарь из недоучившихся юнцов, неугомонный и веселый, с замысловатым серебряным крылом на рукаве.

В связи с редким великолепием летнего штилевого дня начальство распорядилось вытащить приготовленные канцелярские столы из ангара на бетонную набережную. Отсюда членам комиссии были видны не только самолеты, мирно покачивающиеся на якорных буйках, но и вся база, взморье, расплывчатый силуэт Кронштадта и даже — при наличии воображения — Петроград.

Чуть поодаль на громадных заводских ящиках из-под моторов или отдельных частей самолетов сидели и возлежали с равнодушным видом те, чьими золотыми руками неоднократно чинились и латались машины, стоящие на буйках или с задранными хвостами на спусках.

Внешне спокойные? Да! Равнодушные? Нет, никогда! Если в их среде случайно и оказывались равнодушные, то такие быстро отсеивались. А оставшиеся, обмораживая пальцы на холоде, обдирая их в кровь, с головой, тяжелой от паров адской смеси, «рекомендованной техническим отделом в качестве заменителя авиабензина», насквозь промасленные из-за нехватки табельной спецробы, работали дни и ночи, чтобы всегда иметь право доложить: «Машина в порядке». И даже когда они не летали в качестве «бортового», а провожали глазами «своего» пилота, — разве тогда они бывали спокойными или равнодушными?

Какая стойка вылетит внезапно, как подрубленная, в самый неподходящий момент? Какая растяжка лопнет, как струна на гитаре? Не «обрежет» ли в воздухе мотор, при пробных пусках работавший как будто нормально? Разве можно быть спокойным или равнодушным до конца полетов, если все это хозяйство латано-перелатано, чинено-перечинено пускай даже собственными твоими руками?

После этой комиссии придется ли еще возиться с самолетами или — идти слесарем в мастерские, а то и огородником в подсобное хозяйство?

А пока что покурим!

Традиция не позволяет в этих делах выражать свои чувства, а

какой-то особенный, напускной цинизм считается вроде как бы хорошим тоном бывалых людей.

Ох уж это балтийское лето!

Иногда лето как лето. Правда, ненадолго.

Но чаще не лето, а какая-то перемежающаяся лихорадка. То дождь, то туман. То штиль, то ветер. А то и шторм почище зимнего, только короче. То прохладно, то тепло. Бывает даже жарко… Однако без всякой последовательности, при неизменной бледности лимфатического солнца и непомерно долгих сумерках.

Что же является специфическим, в числе других особенностей, для гидроавиаметеообстановки этой самой Балтики?

А то, что в тихий и безоблачный летний день глаз ясно видит сквозь белесо-мутноватую атмосферу все то, что находится вплотную, — и мутно-голубую волнушку, желтеющую в устье Невы, и силуэт шхерного островка с сосновой кущей. Видно и подальше, как будто до горизонта. Только этот серебристый и расплывчатый горизонт, широкой лентой смыкающий небо и море, кажется каким-то подозрительно близким. Да и белесовато-голубое, почти молочное небо кажется чересчур низким.

Встречный корабль как бы внезапно возникает мутноватым пятном и слишком быстро оказывается на траверзе, отчетливо видимый до каждой бусинки изоляторов антенны или дырочек иллюминаторов. А через три-четыре минуты бродяга бесследно растворяется в опаловой атмосфере где-то за кормой, хотя опыт и глазомер Атлантики или Севера подсказывают, что он должен был скрыться позднее. Еще быстролетнее показывается и исчезает самолет из Ревеля на Стокгольм или на Хельсинки.

Вот это и есть специфический летний день Балтики, когда вокруг вас ясное, но ограниченное пространство, которое движется вместе с вами, как бы раздвигая границы видимости впереди и смыкая эти же границы сзади, за которыми исчезают островки, маяки, трампы, лайбы, пограничные катера, купола. Вместе с вами движется балтийского солнце, которое не только не придает яркости краскам, но, наоборот, обесцвечивает их, как это видно по кормовым флагам или фирменным маркам на трубах.

Так и сейчас.

Прямо на норд-норд-вест вдоль предполагаемого горизонта тонул в мутном мареве силуэт Кронштадтской крепости и военно-морской базы с их фортами, заводскими трубами, мрачным куполом собора и колоннами дальних маяков. Силуэт расплывчатый и бесформенный, больше угадывающийся по привычке.

Изредка с оста или веста вползал в пределы видимости пароход, идущий по илистому раствору Морского канала. Плоский, будто игрушечный и вырезанный из картона, без буруна под носом или за кормой, без дыма из трубы, почти неподвижный — он незаметно исчезал, освобождая бесшумно место другому. Очевидно, передвигал такие игрушки «Союзфрахт» Наркомвнешторга и Петроградский торговый порт.

Почему-то даже чаек сегодня не было в этом благословенном уголке Маркизовой лужи.

Порою идиллия нарушалась стреляющим треском запускаемого для пробы мотора, и опять наступала блаженная тишина.

Казалось, что неустойчивость таких летних часов и переменчивость погоды даже в пределах одних суток должны торопить людей. А между тем членов комиссии развезло от этой великолепной смеси из ясного воздуха, голубовато-молочного неба, чуть ощутимого ласкового бриза и еще более ласкового солнца. То же происходило и с моторным сословием, в промасленных спецовках развалившимся на авиационной таре.

Тучный председатель расправил сановную бороду, вытащил огромный, безукоризненной белизны платок, провел им по лысине, затем внутри фуражки и многозначительно изрек:

— Начнем, пожалуй!

Безоблачность его настроения была очевидной.

К тому же дошлым членам комиссии было известно, что хорошее самочувствие шефа подогревалось сознанием того, что часам к двенадцати начальник дивизиона (он же начальник станции) пригласит на обед, который полагается по распорядку дня, не менее строгому, чем устав внутренней службы. И эта служебная обязанность перерастала в сознании опытного начальника в приятную повинность, поскольку все знали, что у ораниенбаумцев лучшее подсобное хозяйство (вплоть до кур и поросят) во всей морской авиации и что хозяева не крохоборствуют, принимая гостей.

Как ни пытался военком скрывать сомнения, терзавшие его душу, все же они терзали его беспощадно.

А существо их заключалось в следующем.

После окончания гражданской войны и многочисленных реорганизаций морской авиации от нее осталось не так много. А между тем стране, встающей из пепла пожарищ, авиация была нужна. Она нужна была и для обороны от возможных новых посягательств извне, и для множества мирных целей.

Энтузиасты гидроавиации считали, что ее надо развивать в первую очередь, так как строительство аэродромов стоит очень

дорого, а громадная система российских рек, озер и приморских районов давала почти даром готовую сеть естественных взлетных площадок.

В дополнение к пилотам из унтер-офицеров морской авиации, подготовленных при частях еще во время первой мировой войны, в годы гражданской войны было выпущено много летчиков из матросов — вчерашних авиамотористов или механиков. Их большой опыт был неоценимым преимуществом, пока нормальные школы не начали готовить классных летчиков и инженеров.

К тому же мы располагали кадрами из старой офицерской среды, делом доказавшими свою верность народу, в то время как многие их вчерашние друзья дезертировали за границу — нередко на наших же самолетах, тем самым сократив и без того скудный авиационный парк молодой республики.

Не дешевле обошлись нам более подлые предатели, вроде лейтенантов Дидерихса или Прокофьева-Северского, которые, присягнув революции, получили русским золотом подъемные и командировочные и отправились в США в составе миссий для закупки необходимых моторов, а заодно гидросамолетов фирмы «Кертисс». Перебравшись через границу, они сразу же начинали «исповедь офицера, вырвавшегося из когтей чрезвычайки», за что получали гонорар в американских долларах.

Летучие дезертиры чем-то рисковали, пока не дотягивали до вражеского тыла, а расторопный Северский не только с музыкой уезжал с Финляндского вокзала, провожаемый наивными сослуживцами из морской авиации Балтфлота, но даже ухитрился вместе с золотыми монетами вывезти все ценные вещи и свою старую мамочку. В последнем рапорте Генмору[21] он очень трогательно писал, что ни одного дня не в состоянии прожить без дорогой старушки[22].

К черту подлецов! В существе подобных процессов всегда есть диалектическая сторона, так как сокращение числа бесчестных специалистов неизбежно ведет к убыстрению другого процесса — выращивания своих, новых кадров.

Как ни хороши были гидросамолеты Григоровича «М-5» и особенно «М-9», состоявшие на вооружении с 1915 года, все же к началу двадцатых годов этих машин уже не хватало.

Немногие авиационные заводы в старой России почти не работали. На заводах «Дуке» в Москве, «Анатра» в Одессе и на Русско-Балтийском в Петрограде занимались досборкой последних машин из оставшихся или ранее отбракованных материалов. Завод купца Щетинина, изготовлявший все самолеты

типа «М» конструкции Д. П. Григоровича, закрылся. Но главным пунктом преткновения были моторы, раньше ввозившиеся из-за границы. Поступление их прекратилось еще в 1918 году в связи с блокадой.

На заводы начали возвращаться с различных фронтов остатки, вернее, останки машин, выслуживших все сроки, продырявленных пулевыми и осколочными попаданиями, с абсолютно изношенными моторами, а иногда и вовсе без них. Последующая возня с этим ломом из металла, дерева, тросов и обрывков перкаля официально именовалась «производством капитального ремонта».

Но ни для кого не было секретом, что эти же самые машины во фронтовых или тыловых, парковых или аэродромных мастерских не однажды проходили все виды ремонта, включая и капитальный, прежде чем уцелевшее сооружение немыслимой конструкции грузилось на железнодорожные платформы и направлялось в Москву или Петроград с документами, где слова о «необходимости капитального ремонта» упоминались неоднократно. Причем не злой умысел, а печальная необходимость заставляла отправителя предварительно ободрать погруженную машину, отнимая, вывинчивая, а то и вырывая «с мясом» все приспособления, устройства и детали, которые еще можно было использовать во фронтовом хозяйстве. Из-за нехватки запасных частей и оборудования даже на самых солидных заводах капитальный ремонт одной машины удавалось делать только за счет другой.

В последующем для восстановления одного самолета приходилось уже жертвовать останками двух, а то и трех бывших машин.

Но наступил день, когда и эта техническая метаморфоза перестала давать эффект, так как не стало годных авиационных двигателей, проходивших восстановление почти по такому же методу. Немногие выпускаемые с завода машины являлись результатом упорного и нечеловеческого труда тех самоотверженных авиационных техников, которые делали чудеса, чтобы дать в руки Красному Воздушному Флоту оружие для борьбы с иностранной и белогвардейской авиацией.

Все это прекрасно знал военком. Он сам начинал службу в Балтийском флоте с моториста, потом авиамеханика на гидроавиационных станциях, расположенных в Пернове и на островах Рижского залива, а затем плавал на авиаматке воздушных сил Балтийского флота «Орлица», в качестве делегата которой он представлял морскую авиацию на всех революционных съездах и конференциях с октябрьских дней 17-го

года.

Душевные терзания военкома доходили до такого высокого градуса, что, будь его коллеги по комиссии более наблюдательными, они бы заметили под этой суровой маской и скупой мимикой готовность выть полным голосом.

Подумать только: предстоит отбраковать несколько самолетов, числящихся еще в списках, но, по-видимому, пришедших в полную техническую негодность.

Это значит уменьшить самолетный парк Российской федерации на несколько самолетов.

Но, с другой стороны, оставить изношенные гидросамолеты в строю — значит продлить формально разрешение полетов на них. А ведь каждый подъем на такой машине — страшный риск для жизни пилота.

На какой-то момент зашевелилась зависть к тем, которые лежали в самых расхристанных позах на ящиках. Конечно, он знал, что и они переживают происходящее. Но более субъективно — болея больше за свою машину, за свой мотор. Ну в лучшем случае — заботясь о том, какой урон комиссия нанесет первому или второму отряду.

А ведь военком болел за всю гидроавиацию республики. За ее будущее. За мечту о ней.

Итак, вычеркивать на слом машины, которые еще можно использовать без риска для жизни пилотов, нельзя!

Итак, оставлять машины, опасные для жизни летчиков, тоже нельзя!

Формулы как будто ясные. Но как их практически реализовать?

Обласканный солнышком и почтением окружающих, превосходительный председатель оставался невозмутимо спокойным. Инженеры зарылись в бумаги или с бесстрастно серьезным видом копошились на самолетах, подтянутых к бетонному спуску. Только молодой секретарь, которого военком смутно вспоминал желторотым кадетом на «Орлице», вел себя легкомысленно, беспричинно улыбаясь и все время порываясь рассказывать разнообразные истории из авиационной жизни.

Очевидно, все они были честными и весьма знающими специалистами, и каждый из них, не терзая свою совесть, мог совершенно точно сказать, почему из-за такого-то процента износа, или из-за усталости металла, или из-за деформации фундамента двигателя, а может быть, по совокупности всех этих причин — данный самолет подлежит списанию, как безвозвратно изношенный (или поврежденный).

Через пять минут начнется выбраковка замызганных и потрепанных летающих лодок, лениво покачивающихся на своих буйках в нескольких саженях от стенки, на которой расположилась комиссия. И военком вдруг почувствовал какую-то необъяснимую теплоту и жалость к этим ветеранам морской и воздушной войны, которые сейчас, как живые, ждали решения своей участи.

В каких только переделках они не бывали! Кто только на них не летал! Кама, Волга, Астрахань всплыли в памяти военкома, и он, тряхнув головой, с усилием заставил себя сосредоточиться на разделах акта, которые сейчас громко формулировал главный инженер.

В разгар работы, когда председатель, следуя за смещающейся тенью ближайшего ангара, уже в третий раз приказывал передвинуть стол, на котором громоздились документы, прижимаемые гайками и шатунами покойных «сальмсонов», в расплывчатом мареве тусклого горизонта послышался характерный стрекот. Он приближался со стороны Петрограда и был не вполне уверенного тембра и вовсе не надежной частоты. Вскоре возникло темное пятно, за которым угадывался дымный шлейф, а еще через минуту нетрудно было опознать низко идущий гидросамолет, один из серии лодочных бипланов, которые в официальных документах числились под условными литерами «М-1», «М-5» и так до «М-9» (в обиходе, характерном для капиталистической России, при полном забвении конструктора Григоровича они назывались «щетининскими пятерками» или «девятками» только потому, что строились на заводах фабриканта Щетинина).

Теряя высоту, гидросамолет проревел прямо над комиссией (надо признаться, что при этом кое-кто инстинктивно втянул голову в плечи), потом, сделав крутой вираж, плюхнулся на воду в одном кабельтове от бетонного спуска.

Все это произошло с ошеломляющей быстротой. Несмотря на грохот мотора, члены комиссии и опытные мотористы успели различить ненормальный визг вибрирующих растяжек и абсолютно возмутительное для инженерного слуха дребезжание каких-то расхлябанных угольничков, обушков или болтиков.

Заметили они за этот короткий миг и то, что давно не лакированный самолет выглядит грязно-пятнистым ягуаром, а в нижнем углу левой коробки скандально зияет неприличная дыра в разорванном перкале.

Пока виновник происшествия подруливал к спуску, перелезал из кокпита на берег и поспешал пред грозные очи председателя,

комендант успел доложить, что день сегодня нелетный, никакого прилета не намечалось; что, судя по номеру, эта старая калоша самовольно поднялась с гутуевской станции или из Гребного порта, а судя по невзрачному виду приближающегося, он является старшим военморлетом Чухновским.

— Мальчишество!

— Бессмысленный риск!!

— Воздушное хулиганство!!!

Такой серией нелестных выражений и еще кое-какими посильнее был встречен молодой, скромного вида человек в старом офицерском кителе. В левой руке он держал мятый шлем, а правой усиленно пытался привести в порядок свою прическу. Однако последняя слушалась его значительно хуже, чем самолет.

Комиссар мрачно рассматривал неказистого и застенчивого на вид пилота.

Председатель опасливо молчал, пока Чухновский не подошел к столу и, представившись по форме, не доложил, что прибыл для списания своего самолета.

После этого начальство обрело дар речи.

— Но почему именно сегодня и здесь?

— Мне нужен самолет!

— Ну, батенька мой. Я вам самолета дать не могу.

— Так точно! Но нужно списать мою старую машину, чтобы я попал в список кандидатов на новые самолеты «Савойя» или «Ю–20». А ради этого я готов лететь еще дальше.

— Ну, батенька мой!.. Дальше, как говорится, ехать или, вернее, лететь некуда! Ждали бы, пока дойдет до вас очередь.

— Так точно! Ждал больше года. И очередь подходила.

— Ну и что?

— К нашим ангарам на Гутуевском добираться сложно. Как на грех, моторный катер станции оказался в ремонте. Председатель комиссии приехал в Торговый порт, увидел, что через Морской канал надо переправляться в простом дощанике, да еще вымазанном смолой, и повернул назад.

— Позвольте!.. По… по… звольте… Когда это было?

— Прошлой осенью.

— И вы мне будете рассказывать, что только из-за смоляных пятен…

— Так точно! День был еще теплее, чем сегодня, а на вас были белые брюки.

В наступившей тишине слышалось учащенное дыхание главы комиссии.

До ящиков астматическое бульканье не достигало, зато сказанные Чухновским слова запоминались там полностью, так

же как и те, которые не были сказаны, но напрашивались.

— Ну, батенька мой… Все-таки не вижу оснований нарушать дисциплину! Но раз вы здесь, — это было сказано уже примирительно, — то не отправлять же вашего одра обратно. Предъявляйте его к списанию. О прошлогоднем снеге не станем вспоминать. А что касается вашего самоуправства, то пусть в этом разбирается начальник второго гидродивизиона. — И, опять обретя утраченные было начальственные интонации, председатель добавил: — Василий Васильевич! Прошу вас, батенька мой, обследовать «девятку», оформить соответствующим актом и выдать военморлету Чухненко…

— Чухновскому.

— Ну да! Я и говорю: Чухновскому! Если нужно, я могу лично присутствовать при дефектовании…

— Что вы, что вы! Ваше… товарищ председатель! Осмелюсь доложить, вам там делать абсолютно нечего. Поверьте мне и бригинжу, что случай бесспорный! Так сказать, безоговорочно подлежит списанию по всем статьям… Верьте мне… Судя по днищу и редану, в лодке, наверное, плещется вода, так что в ней без калош находиться не рекомендуется. Вообще я удивляюсь, как это сооружение… — Но, взглянув на стоявшего у стола Чухновского, инженер оборвал свой монолог.

— Вы, как опытный врач, ставите диагноз, даже не прослушав пациента… Любопытно… Возможно, что диагноз правилен. Но нельзя, батенька мой, не потрогать руками и не пощупать глазами. Придется хотя бы pro forma осмотреть.

Остывшему от раздражения председателю меньше всего хотелось спускаться к гидросамолету, заглядывать в него, а затем подниматься обратно по бетонному спуску. Вот почему он совершенно размяк от благожелательности, услышав внезапное предложение военкома:

— Действительно! Отчего бы вам не посидеть, а я пойду и мельком взгляну. Результат доложу. Могу вас заверить, что я хоть академий или институтов не кончал, но в чем-чем, а в материальной части немножко разбираюсь… И на заводе у Щетинина слесарил, и в Аренсбурге работал в самое тяжелое время, и в Гапсале немного учился… Кого-кого, а «девятку» с «сальмсоном» знаю…

— Что вы, что вы, товарищ военком! Ваше слово будет решающее.

Председатель развел руками в церемонном полупоклоне, какой можно было сделать, не вставая со стула и при наличии довольно солидного кранца (или брюха попросту).

Откровенно говоря, у военкома после просмотра документов

и доклада двух опытных инженеров, а еще больше под впечатлением грома небесного, пронесшегося над его головой, не оставалось никаких сомнений о дальнейшей участи этой «девятки». Но военком был заинтригован подозрительной возней вокруг самолета. Наблюдая из-под руки, военком видел, как два моториста в замусоленных робах отвязали самолет и, манипулируя отпорными шестами, увели его за ближайший ангар, туда, где находился старый деревянный спуск. Сейчас от стола комиссии виден был только задранный кверху хвост с обшарпанным оперением гидросамолета.

Когда военком обошел ангар по соединительной полосе между маневренными площадками, произошла мимическая сцена.

Два ораниенбаумских механика из первого или второго гидроотряда, подтянув «девятку» сколько могли на деревянный спуск, только-только готовились к некоей хирургической операции.

— Нехорошо, братки!.. Можно сказать, акт еще не подписан, а вы тут машину распатрониваете.

— А что с этой дурой церемониться, — сказал моторист постарше, оправившись от первого смущения, — можно сказать, на свалку и то не годится. А между прочим, на ней совсем новый масляный насосик стоит…

— Ну и что?

— А то, — сказал, уже злясь, моторист, — что у меня на лодке, которая еще во второй категории ходит, насосик обратно паяный и перепаянный.

Разговор оборвался из-за оглушающего треска мотора на соседнем самолете. Военком выразительным жестом показал, чтобы охотники за насосиками смывались, а сам он медленно побрел к фокусу событий у главного стола комиссии.

Здесь тонный инженер (явным «тонягой» он был потому, что из рукавов его небезупречного кителя выделялись безупречные манжеты) протянул акт, уже подписанный председателем, после чего, получив последнюю подпись и печать, повернулся в сторону молчаливо стоявшего Чухновского.

— Приговор окончательный, обжалованию не подлежит! — сказал он с подчеркнуто трибунальской интонацией, но в то же время улыбаясь, так как был очень доволен своей остротой.

Инженер острил, или барахлил, как принято выражаться на флотском жаргоне, но это был действительно приговор для «девятки». И приговор окончательный.

Со смешанным чувством жалости к старому боевому другу и в то же время с облегчением в душе, наконец избавившись от

нудной мороки, Чухновский даже позабыл попрощаться с комиссией, медленно побрел вдоль стенки к нижнему ангару, на ходу засовывая во внутренний карман кителя долгожданный акт.

Отделившись от группы ораниенбаумских товарищей, к нему присоединился механик с «девятки» — старый и верный друг Оскар Санаужак, и они побрели дальше медленно и уныло, вполголоса обмениваясь отрывистыми фразами. Так идут на панихиду, чтобы попрощаться с дорогим покойником.

Комиссии предстояло еще решить судьбу двух машин. Если одна из них, под маркой «М-5» с мотором «гном-моносупап», никаких сомнений не вызывала, то последняя машина «М-9» со стопятидесятисильным «сальмсоном», могла испортить председателю ожидаемый обед, после которого старик хотел поспеть на четырехчасовой поезд в Петроград.

Так или иначе, но чрезвычайное происшествие в связи с прилетом «девятки» из гутуевского отряда было временно забыто.

Но, по-видимому, сама «девятка» не хотела, чтобы о ней так скоро забыли, потому что через десять или пятнадцать минут она о себе напомнила.

Запуск мотора остался совсем незамеченным.

Пробег, начатый за ангаром от старого спуска, привлек внимание, но чья эта машина — сообразили не сразу, тем более что Чухновский набирал скорость, удаляясь от зрителей.

Все сомнения отпали, когда после разворота «девятка» в обратном порядке воспроизвела утреннюю эволюцию, пройдя прямо над столом председателя.

Только свист, грохот и дребезг показались на этот раз еще громче. Это было невероятно!

Ошарашенные неожиданностью больше, чем громом, все смотрели в небо.

Набухшее днище лодки источало тончайшие струйки от киля и от боковых угольников редана. Эти струйки, сорванные потоком воздуха, сверкали на солнце утончающимися капельными пунктирами и дальше исчезали светлыми бусинками, переходя в водяную пыль.

Повторное происшествие казалось еще более «чрезвычайным». В первом случае оно поразило неожиданностью, и только после посадки самолета стало ясно, что оно было почти невозможным. Сейчас все было и неожиданно, и невозможно, и нелепо.

Комиссия в полном составе вместе с председателем стояла с открытыми ртами и безмолвно смотрела вслед гидросамолету, который удалялся в сторону тускло отсвечивающего в привычном

воображении купола Исаакиевского собора. И как-то особенно обидно, если не оскорбительно, спустя несколько секунд всех осенило с безоблачного неба невидимыми бисеринками той самой эмульсии, наличие которой, в соответствии с мнением специалистов, изложенным в акте, свидетельствовало о том, что корпус лодки подлежал списанию еще тогда, когда на председателе были шикарные белые брюки.

— Еще и окропил, подлец! — со злостью изрек председатель, обтирая лысину.

С этого момента у всех развязались языки. В обратной последовательности раздались те же выкрики:

— Мальчишество!

— Бессмысленный риск!

— Воздушное хулиганство!

И кое-что другое, значительно покрепче.

Поскольку этот день был нелетным, на вышке никого не оказалось. Военком приказал срочно подняться наблюдателю и, мобилизовав всю оптику, докладывать о полете Чухновского. Однако балтийская дымка быстро поглощала нарушителя и его «девятку».

Еще через минуту произошло новое необычайное событие — вернее, метаморфоза.

Только что работавшая техническая комиссия исчезла.

Вместо нее за теми же столами заседал трибунал. С суровым председателем, строгими специалистами-экспертами, мрачными свидетелями обвинения и с непременным секретарем.

От обычного этот трибунал отличался тем, что почти все члены считали себя прокурорами и наперебой, на высоких нотах изощрялись в квалификации обвинения.

Не совсем обычным было также количество и позы присяжных заседателей.

И вовсе отсутствовала защита.

Наконец, не было никакого порядка, так что нарушение процессуальных норм Уголовного кодекса могло бы служить основанием для обжалования всего процесса и отвода всех прокуроров. Но этого некому было сделать, так как сам обвиняемый в этот момент вел злополучное произведение купца Щетинина по прямой на небольшой высоте, с каждым мгновением удаляясь от грозного судилища.

Сперва затихли несносные звуки.

Затем темные очертания лодки с шлейфом из дыма постепенно превратились в расплывчатое серое пятно.

Наконец вовсе исчезло и это пятно. Так, как будто его и не было.

А может, и действительно не было?.. Бывают же миражи даже на Балтике.

В другой раз рефракция поднимает на небо не только лайбы, но и целые острова, а другие атмосферные фокусы скрадывают маяки и знаки, когда в них особенно нуждаешься.

К сожалению, нет! Не мираж!

Даже если бы все присутствующие хором заявили, что они явились жертвой оптического обмана или галлюцинации, капли на лысине председателя начисто опровергали такую версию.

— Да как он смел? — явно запоздало и уныло твердил председатель. — Ну пусть сам сумасшедший! Но как он смел вынудить механика рисковать жизнью?

Председатель хотел уже повторить этот вопрос в полный голос с расчетом на всю аудиторию, как вдруг из плотной группы авиамотористов и механиков послышался спокойный и раздумчивый голос:

— С таким человеком любой из нас хоть на полюс сам полетит!

— Ничего не понимаю!.. Какое-то массовое помешательство.

Господи! Что сделалось в душе у председателя!

И злоба, и возмущение, и неловкость перед окружающими, и, может быть, в какой-то степени беспокойство за жизнь Чухновского. Но главным образом — бессилие.

Да, абсолютное бессилие что-либо предпринять, сделать или хотя бы что-нибудь скомандовать.

Сияние балтийского летнего дня мельчайшей невидимой сеткой слепило глаза, притупляя старческий взгляд, упиравшийся в нежную дымку и серебристую рябь чешуек, покрывавших залив.

Не только настроение — даже аппетит был испорчен бесповоротно.

Вконец расстроенный, обозленный, порывисто дышащий старик, еще полчаса назад торжественный и авторитетный, сейчас стоял, прислонившись к столу, и смотрел в направлении, по которому скрылся «этот сумасшедший».

Смотрел — но ничего не видел.

Странное дело, он понимал или скорее чувствовал, что все стоявшие за его спиной смотрят не в сторону Петрограда, а на него. Как бы ждут его резюме, последнего слова или реплики, завершающей этот необычный эпизод.

Понимал, однако никак не мог собраться с мыслями и сделать какой-нибудь жест или изречь «слово», приличествующее ему как старшему.

И вдруг, как бы выручая председателя, обрывая общую неловкую паузу, из-за ангара показался взъерошенный механик,

который бежал прямо на председателя и тоном крайнего и искреннего возмущения, задыхаясь, выкрикивал:

— Сумка! Моя инструментальная сумка!

— Ничего не понимаю! Какая еще сумка?

— Дак моя! Собственная!.. Можно сказать, годами собирал. На ночь под подушку клал… — размахивая руками, в ажитации продолжал орать хозяин собственной сумки.

Обрадованный случайной разрядкой, председатель демонстративно отвернулся от той части света, в которой растворилась «девятка», и обратился к военкому тоном вновь обретенной солидности:

— Попрошу вас разобраться… Уверяю, что я абсолютно ничего не понял.

Из последующих расспросов сразу выяснилось что военком кое-что знает.

Пока шло оформление списания самолета, хозяйственный авиамоторист второго отряда присмотрел на «М-9» почти новенький масляный насосик. Сбегав за инструментальной сумкой, он попросил дружков перетащить гидросамолет при помощи фалиня и отпорных шестов за ангар, к старому спуску. Поскольку такой маневр входил в расчеты Чухновского, его механик охотно помогал ораниенбаумцам.

Но отсоединить насосик так и не пришлось, так как не успел механик разложить свою сумку на сиденье летчика, как появился военком, запретивший «распатронивать старуху».

Затем перекур, разговор, то да се, мол, уберется комиссия, тогда видно будет… а сумочка-то осталась в кокпите.

А дальше — все сами видели! Безобразие!

— Па-а-звольте! А как же вы посмели сдирать с машины хороший насос?

— А на что он этой трухлявой бандуре? Ведь на ней все одно летать нельзя?!

— Па-а-звольте?! Как это нельзя, если машина улетела?

— А очень просто — посмотрите, что вы ей сами в акте записали!

Это уже было нетактично!

Во всяком случае, свыше моральных и физических сил старого спеца.

— Дайте мне телеграфный бланк! — прохрипел он, обращаясь к секретарю.

При общем безмолвии он схватил телеграфный бланк и, излишне долго макая в чернильницу и разбрызгивая кляксы, написал энергичную и лаконичную телефонограмму. Затем, продолжая дышать, как человек, только что вынырнувший из

воды, он повторно перечел бланк, видимо, остался удовлетворен и затем, в правом верхнем углу жирно надписав «срочная», протянул ее комиссару. Теперь все члены комиссии: начальник базы, комендант аэродрома — и остальные присутствующие при этой сцене, как по команде, перевели глаза на военкома. Последний медленно прочел бланк, затем, не подписывая, протянул его коменданту и сказал:

— Отправьте.

Ручка, протянутая ему услужливо для подписи, повисла в воздухе, как и рука, услужливо ее державшая. А военком, избавившись от бланка, продолжал смотреть в сторону Петрограда, как будто надеясь увидеть знамение о благополучной посадке.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Служебная

Начальнику Гутуевской гидроавиабазы

Если военморлет Чухновский Борис долетит живой зпт отправьте гауптвахту 15 суток тчк Военморспец такой-то тчк

Военком (подписи нет)

Дата. Часы. Минуты. Принял… Передал…

Вы спросите: и это все?

Почти все.

Можно, конечно, добавить некоторые уточняющие детали.

Во-первых, как водилось в те времена, телефонограмма из Ораниенбаума на Гутуевский остров через два коммутатора, да еще разных ведомств, пришла значительно позже, чем прилетел самолет, уже вычеркнутый из списков советской авиации. Пришла в изрядно искаженном виде, вызвав искреннее беспокойство за жизнь летчика, о которой упоминалось в депеше. Суматоха улеглась, когда нашлись свидетели, удостоверившие, что виновник происшествия сел в трамвай и уехал на Васильевский остров, не подозревая о мере пресечения и санкции, очень довольный тем, что наконец добился своего. Можно подозревать, что в трамвае он мечтал о новом самолете.

Во-вторых, Чухновскому так и не пришлось отсидеть на «губе», так как председатель сгоряча переборщил, не имея соответствующих дисциплинарных прав.

Теперь позвольте мне возвратиться к тому дню в Морской

академии, когда Стах скупо передал нам историю списания «девятки» Чухновского, вызванный на этот разговор пролетом Валерия Чкалова под мостом лейтенанта Шмидта в Ленинграде.

Как сейчас помню концовку его рассказа, даже не сверяясь с записью, сделанной несколько дней спустя.

— Так вот. Чухновский готов был отсиживаться на «губе» хоть год, хоть два, лишь бы добиться избавления от «М-9» и получить новый самолет. Конечно, он использовал не только описанный мною способ и, несмотря на исключительную вежливость и скромность, сумел добиться своего и один из первых облетывал итальянскую «Савойю-16».

Конструкторская мысль продолжала работать. Тот же Дмитрий Павлович Григорович уже спроектировал «М-24», за ним «МУ-1» (учебный) и работал над «РОМом» (разведчиком открытого моря), но отставала производственная база, так как наша промышленность только-только начинала восстанавливаться…

Не могли те, кто создал благодаря «девятке» так называемое «русское направление в гидроавиации», как писали англичане, остаться без отечественных самолетов.

Ведь фабрикант Щетинин построил в 1916 году по английскому заказу сто пятьдесят «девяток» для флота его величества, а США и Франция закупили по нескольку образцов для своих бюро и заводов. И если посмотреть на современные лодки фирмы «Кертисс», то нетрудно увидеть в них знакомые черты их прародителя Григоровича.

Но летать надо было, и летать срочно.

Вот почему, кроме лодочных «савой», не годных для полярных условий, в Германии были закуплены гидросамолеты фирмы «Юнкерс», чтобы заполнить временный разрыв в создании своей авиации. И один из первых Чухновский получил поплавковый «Ю-20», на котором вошел в историю полярной авиации, так как после Нагурского он первый осваивал с воздуха Новую Землю в августе 1924 года, участвуя в гидрографических экспедициях, а в 1925-м он впервые перелетел из Москвы к Маточкину Шару для обеспечения ледовой разведкой Карской экспедиции. Откуда и началось последующее развитие полярной авиации.

В свою очередь, это послужило своеобразной подготовкой, без которой вряд ли можно было совершить подвиг, связанный с еще одной телеграммой в жизни Чухновского (и его экипажа в лице Страубе, Алексеева и Федотова).

Я говорю о спасении в 1928 году группы Мальмгрена. Весь мир тогда облетела радиограмма, переданная с самолета «ЮГ-1»,

который потерпел аварию во время поиска пострадавших и теперь сам нуждался в помощи: «…Обнаружили Мальмгрена… координаты… ледовая обстановка… Считаю необходимым, чтобы „Красин“ немедленно шел на спасение Мальмгрена. Чухновский».

Вот теперь я отвечаю на вопрос о педагогичности.

Подумайте только, ведь он поднимался в воздух на необлетанном трехмоторном «ЮГ-1», погруженном в заводских ящиках на палубу ледокола и позже собранном кустарным образом в полярных условиях, прямо на льду. Взлетал Чухновский с ледовой площадки, наскоро приготовленной экипажем «Красина», *причем взлетал на этом типе машины первый раз в жизни!*

Лично я считаю, этот вылет под пристальным взором всего мира был куда рискованнее, чем описанный перелет на «девятке».

Вот это был риск! Благородный риск!

На карте стояла не только жизнь самого летчика или новой машины. На карте стояла жизнь группы аэронавтов, бедствовавших в полярных льдах. На карте стояла жизнь экипажа «ЮГ-1». На карте стоял авторитет Советского Союза — хозяина Полярного бассейна!

Вот мой ответ на вопрос о педагогичности рассказов о пролете Чкалова и перелете Чухновского.

В конечном счете решает идея, замысел, цель, ради которой люди идут на риск, если эти люди предварительно рассчитывают все то, что поддается анализу и расчету, оставляя какую-то долю на… Николу Чудотворца. Но эту «долю» знает только тот, кто идет на риск.

После короткой паузы, в течение которой чувствовалось, что пролетел ангел согласия, дружбы и даже радости по поводу услышанного, последовал вопрос того, кто с легким налетом цинизма воспринимал все на свете.

— Благодарю вас. Действительно, об истории с «девяткой» слышу впервые, хотя я служу на Балтике с тех времен, когда на флоте еще не было никакой авиации. Помню и первую жертву — лейтенанта Ваксмута, разбившегося в ноябре тысяча девятьсот тринадцатого года под Либавой. Сейчас, после вашего рассказа, вся эпопея с группой Мальмгрена выглядит в новом свете. И все же я позволю себе задать вам один вопрос.

— Я знаю ваш вопрос! — досадливо поморщился Стах, — Но поскольку вы его ставите, придется отвечать… Так вот, прилет Чухновского в Ораниенбаум задним числом в какой-то мере оправдан. Если же его «девятка» не дотянула бы до Рамбова или позже он не получил бы «Ю-20», то Чухновский был бы признан

полностью виновным и просидел бы на гауптвахте или в более приспособленном для ареста помещении долгое время.

— Но вы обошли вопрос об оценке его вторичного вылета на «М-9», когда для того не было абсолютно никакой необходимости. Как оформить разборку списанной машины, могли решить между собой начальники дивизионов. В то же время риск обратного перелета был больше, чем в первом случае.

— Отмечаю в вас задатки критического мышления, с чем и поздравляю. — Обращаясь ко всем присутствующим, Стах продолжал как будто бесстрастно, но знавшие его улавливали оттенок досады, смешанной с печалью. — Я изложу фактическую сторону, заранее оговорив, что лично понимаю Бориса, хотя публикацию объяснения причин обратного перелета на Гутуевский остров считаю непедагогичной… Что же касается более глубокого анализа душевных или практических побуждений, толкнувших Чухновского на повторное ЧП, предоставляю это каждому из вас, потому что при опросе летчика он после длительного молчания смущенно заявил: «Ни у меня, ни у механика не оказалось денег на железнодорожные билеты до Петрограда… Как-то не подумали перед вылетом… А занимать даже мелочь у этих людей не хватило сил». Всё! Всё, если не считать строгого выговора, которым ограничился я, включая его в список безлошадных первой очереди… На этом импровизированное собеседование на тему «Из истории отечественной гидроавиации» закончено. До завтра!

Закончив рассказ, автор считает уместным сделать небольшое добавление.

Прогуливаясь по Москве где-нибудь около Суворовского бульвара, читатель может встретить не очень бросающуюся в глаза фигуру живущего поблизости москвича. Вместо сияния ореола вокруг головы — лысина.

Вместо золотого панциря — кожаный реглан. Нимбы, звезды, ордена и почетные медали многих стран и расцветок скучают в ящике стола.

Это отдыхает, гуляя, или идет на службу пилот-консультант ОТК полярной авиации ГУГФ Борис Григорьевич Чухновский.

Если же вы сделаете нескромный шаг и попытаетесь спросить его: «Как было на самом деле с гидросамолетом „М-9“?» — и даже если сошлетесь на этот рассказ, то наверняка в ответ услышите: «Право же, не помню… Вернее, не помню таких подробностей».

Именно так ответил мне Борис Григорьевич, когда впервые готовился к опубликованию этот рассказ.

Но вы не смущайтесь. В погоне за истиной у нас есть

несколько важных свидетельств, которые помогают восполнить некоторые изъяны памяти главного персонажа этой истории, хотя во многих случаях, когда разговор касается происшествий, относящихся не лично к Чухновскому, точности его памяти может позавидовать любой человек и любая машина.

Главное — это свидетельство Стаха, как называли друзья комбрига Станислава Эдуардовича Столярского, прошедшего в самые тяжелые и героические годы путь от рядового матроса и авиамотористa до начальника морской авиации[23], от которого мне впервые пришлось услышать этот «воздушный анекдот». За ним следуют ораниенбаумские аборигены, сохранившие в памяти случай с «девяткой», хотя в таком многообразии версий, что разобраться в них было нелегко.

Есть, наконец, хотя и косвенное, но убедительное свидетельство писателя Э. Миндлина в его книге «„Красин“ во льдах»[24], написанной в качестве участника экспедиции по спасению в Полярном бассейне уцелевших людей с дирижабля, потерпевшего катастрофу в мае 1928 года, под командованием генерала Нобиле.

Миндлину удалось не только воссоздать достоверную картину катастрофы и последующих спасательных работ. Он раскрыл несколько черных человеческих душ и много-много светлых, одновременно засвидетельствовав величие подвига советских людей, самоотверженно и бескорыстно спасавших на ледоколах и самолетах экипаж дирижабля «Италия».

В числе других Миндлину особенно удался своеобразный облик командира экипажа самолета «ЮГ-1».

«Он производил иногда впечатление человека застенчивого и часто краснел… и юношеские глаза на первый взгляд меньше всего свидетельствовали о замечательной воле и мужестве этого человека.

Не знаю человека, который был бы скромнее его».

Те из читателей, которые знают «этого человека», очевидно, подпишутся под каждой строчкой. Я же, прочтя книгу до конца, вынул из ящика стола папку с пожелтевшими материалами и обрывками многочисленных вариантов «Истории одной „девятки“», и, не задумываясь над вопросом педагогичности, отнес последнюю версию в редакцию «Нового мира».

Первое дипломатическое поручение

С вице-адмиралом в отставке Александром Васильевичем Немитцем, известным в советской исторической литературе как «первый красный адмирал», мне посчастливилось в свое время работать на Черном море. Во время одного из досугов вице-адмирал рассказал о своей первой дипломатической командировке.

Мне кажется, этот случай дает некоторый ключ к пониманию духовного облика молодого Немитца.

Могут спросить, почему автор только сейчас решил опубликовать этот рассказ?

Сознаюсь, что рукопись в черновом виде хранилась в одном из дальних ящиков стола и была забыта. Вспомнилось о ней в связи с недавним уголовным процессом в Москве, о котором буржуазная печать очень дружно утверждала, что прикосновение атташе иностранных посольств, их семейств и старших советников к вербовке изменников своей родины — дело абсолютно нетипичное и

случайное. Вот тогда-то я вспомнил случай с А. В. Немитцем и попросил у него разрешение на публикацию.

1

Летом 1902 года с остановившегося на Босфоре парохода добровольного флота «Саратов», следовавшего на Дальний Восток, сошел молодой мичман с чемоданчиком в руке.

Усаживаясь в пароконный фаэтон с тентом, приезжий произнес только два слова: Ambassade Russe[25], чем влил изрядную дозу бодрости в сонливого возницу в феске, сразу сообразившего, что тут пахнет немалым бакшишем, особенно если учесть, что пассажир даже не делал попытки договориться о цене. Что касается таможенных служителей, то они, наоборот, с неодобрением, злыми глазами проводили приезжего, в багаже которого нельзя было порыться хотя бы потому, что, собственно, багажа не было вовсе, а от досмотра чемоданчика офицер категорически отказался, предъявив Laisserprasser[26]. Последний был выдан генеральным консулом Оттоманской империи в Одессе.

Мичман был настолько озабочен, что не заметил ни одной из пробегавших мимо панорам Галаты и Пера, обычно привлекающих взоры не только туристов, но даже и деловых людей.

Через полчаса моряк стоял навытяжку перед чрезвычайным и полномочным послом России при Блистательной порте Иваном Алексеевичем Зиновьевым в его темном, прохладном кабинете.

Большой и плотный пакет за пятью сургучными печатями, с пометкой «Только в собственные руки», воплощал в себе первое дипломатическое поручение офицера Российского императорского флота Александра Васильевича Немитца. Случилось так, что министр иностранных дел, находившийся в Ливадии вместе с царем, попросил командующего флотом выделить «самого дельного и расторопного офицера, знающего в совершенстве иностранные языки».

Зиновьев принял мичмана стоя.

— О пакете забудьте. Как будто его и не было, — сказал посол твердо, с ноткой стали в голосе. — В Вене или Лондоне я бы наметил, через сколько дней вы сможете выехать обратно. Но, к сожалению, этот Босфор… — произнес он с печальным вздохом. — Несмотря на почти четырехлетний опыт моей работы здесь, ни я, ни сам аллах не может предугадать хода переговоров с лицами, от которых зависит ход мышления его величества

султана. — Его тон сделался меланхоличным. — Поэтому мой вам совет: гуляйте, танцуйте и развлекайтесь. Представляю, как наши скучающие дамы забросают вопросами молодого моряка, только что прибывшего из России.

Присутствовавший при разговоре первый советник посольства Николай Петрович Щербачев добавил:

— Как вы помните, Иван Алексеевич, в начале будущей недели наступает байрам, со всеми церемониями, включая селямлик[27]. Это не меньше чем дней на десять задержит переговоры, а следовательно, и возможность обратного выезда мичмана.

— Кстати, может быть, это и напрасно и продиктовано излишней осторожностью старого дипломата, — продолжал Зиновьев, — но вы, молодой человек, не обижайтесь на старика и примите следующие мои советы как… ну хотя бы как приказание: не останавливаться ни в одном отеле, ни в одном пансионате, которые вам будут рекомендовать. Устраивайтесь здесь, на территории посольства. Говорите всем, что приехали навестить старую тетушку или дядюшку. А Николай Петрович возьмет на себя труд подобрать вам родню из обширного состава русской колонии. Во всем остальном я полагаюсь на ваше благоразумие. А пока прошу вас не отказать в любезности позавтракать со мной. Вы расскажете нам, что делается в Ливадии…

Несмотря на личное обаяние посла и его вполне корректное обхождение со случайным гостем из Севастополя, последний был сильно разочарован. Во время завтрака мичману стоило больших усилий впопад отвечать на расспросы сановников о Крыме, в котором отдыхала царская семья.

Еще в каюте «Саратова», когда мичман, боясь заснуть, держал под головой жесткий чемоданчик, положив рядом браунинг со спущенным предохранителем, он иначе представлял свою миссию в Константинополе. Он мечтал, что будет привлечен к обсуждению стратегических проблем — ну хотя бы к «оценке оборонительных сооружений Проливов», или к «проблеме исторического и военного значения Средиземного моря для России», или к чему-либо в этом роде. Немитц перебрал в памяти все операции адмиралов Ушакова, Лазарева и Нахимова. Высадку русского корпуса на Босфоре во время восстания египетского паши. Смелые операции ныне здравствующего вице-адмирала Макарова на пароходе «Константин» во время последней войны с турками и многое другое.

Но оказалось, что его использовали лишь как фельдъегеря или чрезвычайного дипломатического курьера.

«Нет! Я постараюсь осмотреть исторические памятники и

через военного и морского агентов[28] добьюсь посещения верфей, обсерватории и гидрографического департамента, то есть всех тех мест, куда допускаются иностранцы. Наверное, к тому же в посольстве имеется отличная библиотека! Тогда фельдъегерь Немитц вернется в Севастополь, не только выполнив возложенную на него задачу, но и сделает блестящий доклад в офицерском собрании», — мелькало в голове мичмана.

Посол понял состояние гостя и в дружески-шутливом тоне старался рассеять его настроение. Но неожиданно об этом позаботились другие…

Когда завтрак подходил к концу и застольная беседа угасала, дежурный секретарь после тысячи извинений попросил разрешения у патрона встать из-за стола «по делу», хотя никто не заметил, каким образом и кто его вызвал. Через минуту он вернулся и опять с многими извинениями попросил позволения вручить мичману конверт, ссылаясь на то, что посланец, главный кавас[29] германского посольства, настаивает на немедленном его вручении адресату.

Зиновьев разрешил мичману, не ожидая конца завтрака, ознакомиться с содержанием пакета.

Советник посольства Щербачев насторожился. Слишком уж неожиданной и необычной была эта почта.

Роскошный конверт оказался незапечатанным. В углу вложенного квадрата из слоновой бумаги с золотым обрезом был вытиснен вычурный герб константинопольского яхт-клуба, «созданного заботами и попечением старейшин дипломатического корпуса при Блистательной порте». Красивым готическим шрифтом было написано, что «члены тевтонской секции клуба будут рады приветствовать в интимном кругу дорогого гостя…». Дальше с немецкой пунктуальностью следовал адрес, час и минуты, форма одежды, «без дам» и другие не менее важные указания, которые знающему местные обычаи подсказывали, что состоится попросту холостяцкая попойка. И самое главное, что, кроме немцев, на ней никого не будет.

Однако самым неожиданным выглядел адрес: «Офицеру Российского императорского флота — господину Немитцу фон Биберштейну А. В.»

— Очевидно, здесь какое-то недоразумение, — сказал мичман, протягивая пригласительный билет первому советнику.

Тот бегло проглядел его и передал послу, задержавшись только на подписи: «Вице-командор клуба, глава тевтонского дивизиона (секции) майор Морген. Ф. А. И. Флигель-адъютант его кайзерского величества».

— Вы говорите — недоразумение? — промолвил посол,

прочтя короткий текст. — Возможно. Но уверяю вас, что посол Германии господин Маршалл фон Биберштейн не сделал бы такого хода, не имея твердого шанса.

По мановению руки шефа дежурный секретарь и лакей исчезли, после чего на гостя посыпался град вопросов:

— Знаете ли вы фамилию германского посла? Встречались ли с майором Моргеном? Имеет ли ваш род отношение к дому графов Биберштейнов? Говорили ли вы с кем-либо, пока добирались с парохода «Саратов» в посольство?

Когда мичман почтительно, но недоуменно ответил отрицанием на все вопросы, посол встал и, сдерживая волнение, обратился к Щербачеву:

— Ну, дорогой Николай Петрович, поднимайте перчатку! Нам брошен вызов. Теперь я мичмана поручаю только вам. — Последние слова он подчеркнул. — Прошу ко мне в кабинет.

Когда после обстоятельных расспросов выяснилось, что никаких Биберштейнов мичман не знает, посол, не без издевки над собой и не щадя профессионального самолюбия Щербачева, с каким-то смакующим самобичеванием заговорил, расхаживая по кабинету:

— Конспираторы! Дипломаты! Да нас выдрать надо за эту историю! Мы тут подыскиваем театральную тетушку для русского офицера, приехавшего с давно ожидаемой директивой, а нам… нам уже присылают расписку, что знают не хуже нас о том, что пакет доставлен по назначению и об этом известно на истамбульском базаре. Одновременно уведомляют, что наш офицер находится в родстве с германским послом, о чем никто из нас не подозревал, и что они берут его под свое покровительство с момента появления на Босфоре! Как это говорят у нас в России, — обмишурились? Да, дорогой Николай Петрович, мы с вами обмишурились!

Действительно, до чего глупо! Вместо солидного багажа — чемоданчик, вместо вида юноши, вырвавшегося в отпуск, чтобы порезвиться у богатого и сановного дядюшки, — эта выправка; отказ от осмотра чемоданчика; это именное laisser-passer, которое выдали турки в Одессе, одновременно послав депешу в Истамбул!

— Ведь нас даже не предупредили из министерства… — начал оправдываться Щербачев.

— Оставим это, — перебил его посол. — Игра начата. Следующий ход делаем мы. Прикажите послать сюда нашего почтенного архивариуса.

Через несколько минут в кабинете стоял худой старик в пенсне на черной ленточке, поверх которого он по очереди смотрел на собеседников, наклонив голову так, будто собирался

их боднуть.

Об ученом, но скромном архивариусе в этом мире конденсированного тщеславия и честолюбия, каким было не только одно русское посольство, вспоминали лишь тогда, когда даже умный и опытный посол Зиновьев становился в тупик…

Спустя два часа старик не без скрытого довольства от успешных розысков докладывал:

— Изволите ли видеть, в Германии, в Швабии, а если говорить точнее — на землях Бадена, существует несколько ветвей древнего рыцарского дома Биберштейнов. Обнищавшие ветви, наряду с традиционной военной службой, занялись науками, и из Штуттгартского университета вышло несколько ученых, дальнейшая судьба которых связана со службой в России. Еще в тысяча семьсот девяносто восьмом году блаженной памяти император Павел Первый по ходатайству графа Каховского из Ясс разрешил принять на службу Фридриха фон Биберштейна в качестве офицера; в последующем тот сделал такие успехи в ботанике, что Александр Благословенный пожаловал ему пять тысяч десятин в окрестностях Мерефы за труды в области организации российского виноградарства и шелкопрядства. Умер он в тысяча восемьсот двадцать шестом году, и по сей день его останки…

Остановив докладчика движением холеной руки, посол поднял любопытствующий взгляд на Немитца. Недоуменное выражение лица последнего отвечало на безгласный вопрос его высокопревосходительства.

— В первый раз слышу… Но, простите, какое отношение имеет ко мне этот Маршалл фон Биберштейн?

Разрешительный жест посла в сторону архивариуса дал возможность мичману узнать кое-что интересное.

— Наряду с ветвью Маршалл фон Биберштейнов существует боковая ветвь Немитц фон Биберштейнов из тех же прирейнских княжеств. Мне пока не удалось проследить, когда Немитцы переселились в Россию. Сведения о них скуднее, чем о роде Маршаллов, но я, с вашего позволения, продолжу…

— Благодарю вас, — сказал посол. — Я вполне удовлетворен. Вот разве молодой человек захочет подробнее узнать о том, когда его предки с Рейна начали служить русским государям…

— Извините, Иван Алексеевич, — перебил посла взволнованный мичман, позабыв о разнице в чинах и летах. — Я всегда считал и считаю, что человека надо ценить по его делам, а не по родословной! Так я был воспитан своим отцом. Хотя вот только сейчас начинаю смутно припоминать, что в детстве старые

тетушки что-то говорили об отдаленном родстве с Биберштейнами. Но поверьте, что у молодых людей нашей семьи никогда не было этого наследственного поветрия дворянских домов — раскапывать генеалогические дебри, для того чтобы легче было сделать карьеру.

— Однако, молодой человек, я, признаться, думал, что вы взрослее, — усмехнулся посол. — Такой нигилизм к родословной и к знатным предкам слишком радикален. Особенно для офицера. Но, слава богу, это с годами проходит… А впрочем, сейчас не об этом разговор. Ясно, что у моего германского коллеги вполне достаточно оснований, чтобы считать вас своим хотя и очень отдаленным, но все же родственником. Другой вопрос, для чего это ему понадобилось, причем так срочно? Вы меня простите, но поскольку не вы, а он имеет честь быть графом и бывшим статс-секретарем Германской империи, то не ему, а вам должно быть лестно такое открытие родственных связей. А между тем… Впрочем, — оборвал себя посол, — на сегодня достаточно открытий и признаний. — Последние слова посол сказал явно в адрес слишком экспансивного мичмана. — Господа, вы можете быть свободны.

Обращаясь к Немитцу, Зиновьев прибавил:

— Указания получите от Николая Петровича. И как бы ни претила вам генеалогия, извольте абсолютно точно придерживаться тех директив, которые будете получать от моего имени.

— А как быть с приглашением?

— Конечно, принять! У нас нет оснований отступать. И кроме того, это было бы неприлично. Хотя я вас знаю всего три часа, но не боюсь с вашей стороны никакой непоправимой ошибки, — сказал посол, после чего игриво добавил: — Очевидно, первое испытание, которое вам предстоит, — это так называемая «проба на вине».

— Можете быть уверены, что пить буду, но в меру. Русского моряка этим пронять трудно!

— Не будьте столь самоуверенны. Вам могут подбавить в вино или в шербет одну из восточных специй…

— Позвольте усомниться, ваше превосходительство. Ведь я буду в обществе истинных джентльменов!

Посол и советник обменялись быстрым, но выразительным взглядом.

— Позвольте еще вопрос. Как быть, если речь зайдет о цели приезда?

— Скажите, что привезли пакет. Бесцельно теперь это отрицать. Не люблю мелкую игру. Ведь дальше вы можете

показать хоть под присягой, что не знаете не только его содержания, но даже заголовка. И это будет истиной.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, — радостно сказал Немитц. — Мне была бы тягостна любая ложь. Это испортило бы мне предстоящий вечер.

В момент, когда моряк выходил из кабинета, Зиновьев бросил ему вслед:

— Я попрошу вас только по окончании каждого хода… простите, по окончании каждой встречи подробно докладывать обо всем первому советнику — и больше никому. Понятно?

— Ваше превосходительство! Я прибыл сюда в качестве простого курьера. Сейчас, в силу неясных мне обстоятельств, чувствую себя пешкой, которой собираются делать какие-то ходы… Согласитесь, что это не очень приятная роль.

— Дорогой мичман, на шахматной доске есть фигуры поважнее пешек. Помните, что от вас самого зависит, какой фигурой вы окажетесь. Полагаю, что вы останетесь «офицером». А это не мелкая фигура. Предоставьте игру нам, тем более что не мы ее начали. А вам я обещаю, если вы достойно проведете в этой сложной партии свою роль, посвятить вас в итоги состязания…

2

Поздней ночью в посольской квартире первого советника мичман докладывал об итогах встречи с джентльменами в яхт-клубе. Правда, для этого ему пришлось предварительно окунуть голову в таз с холодной водой и выпить не менее двух бутылок сельтерской…

Так повторялось каждый вечер после встреч в тевтонском клубе, на пикниках, на музыкальных вечерах у сестры германского посла фрау фон Биберштейн, на которых очаровательно пела ее дочь Анна-Луиза.

Трудно было и не хотелось мичману даже самому себе признаться, что ласковое внимание голубоглазой фрейлейн Анны-Луизы сыграло решающую роль в том, что он не отказывался ни от одного приглашения. Из-за нее же он не побывал в тайном доме свиданий, где ему обещали показать гурий «в натуральном виде». Непонятно только, почему был так раздосадован этим отказом майор Морген.

Ничего зазорного и предосудительного не было и в том, о чем говорилось во время встреч, — о дружбе двух императоров, об общности интересов России и Германии и тому подобном. Кроме одного: упорной тенденции убедить Немитца, насколько странно

то, что он пренебрегает своей родословной и особенно родственными связями с графом Маршаллом.

Доверительно мичману намекнули, что граф, очень любящий Россию, заинтересовался его персоной и, очевидно, ожидает, что молодой человек попросит принять его в частной аудиенции. Одновременно выражали удивление, что он не понимает своих возможностей выдвинуться, «выйти в люди».

В том, что русские дипломаты и их семьи поддерживали относительно тесные связи с немецкой колонией, не было ничего удивительного, так как в этот период Вильгельм II афишировал дружбу с Ники, как он ласкательно именовал Николая II даже в открытых телеграммах. Это обстоятельство отнюдь не мешало, а скорее помогало немцам интриговать против русских интересов в Турции. Но делалось это с учтивыми реверансами, ласковыми улыбками, сердечными приветами, сопровождаемыми дружескими тостами.

Вот почему появление мичмана в немецком окружении не вызвало удивления в других посольствах, тем более что, несмотря на публичные возражения мичмана, его родственные связи с Маршаллом раздувались молвой, инспирированной членами тевтонского клуба.

Майор Морген, военный агент германского посольства, пользовавшийся особым влиянием из-за личной дружбы с кайзером, передал очень любезно, но тоном, не терпящим возражения, что «эксцеленц» пожелал, чтобы Немитц представился ему во дворце султана после селямлика, когда закончится официальная часть церемониала.

— Этого счастья вы добились только потому, что граф приходится вам родственником, а мы все считаем вас своим человеком. Поэтому прошу вас после прохождения послов мимо султана держаться на виду у германской группы. Я сам представлю вас графу.

Прежде чем расстаться, Морген, перейдя на интимный тон, чуть слышно произнес:

— Завидую вам… Завтра — переломный день в вашей жизни. Подумайте только, если вы понравитесь графу — в нем я не сомневаюсь — и окажетесь благоразумны, вся ваша последующая жизнь и карьера будут обеспечены. Ведь граф сможет дать о вас блестящую характеристику своим друзьям в Санкт-Петербурге. В случае необходимости вы сможете писать ему частным образом, на правах Биберштейна. В свою очередь, он сможет давать вам отеческие советы и указания… Повторяю, я вам завидую…

— Понимаю, — сказал ночью Щербачев, выслушав доклад

Немитца. — Не мог же он назначить вам официальную аудиенцию в посольстве. Полномочные и чрезвычайные послы не принимают иностранных дипломатических курьеров. Это было бы нелепо. А для частной аудиенции, очевидно, основания недостаточно веские, тем более что вы так афишируете нежелание увеличить число влиятельных родственников. Вот и остается как бы случайное представление «на нейтральной почве», в сумбуре селямлика, где обычно толкотня больше, чем на базаре. Такой вариант ни к чему не обязывает его сиятельство даже в случае провала…

— Помилуйте, о каком провале может идти речь?

— Вы знаете, дорогой мичман, что командующий Черноморским флотом очень удачно отобрал офицера для первого дипломатического поручения, за исключением очень важного качества…

— ?

— Выдержки!

Зиновьев встречу одобрил.

— Вернее, — сказал он, — вы не можете после такого предложения уклониться. Иначе это уже будет скандал, чего допустить нельзя. Или объявитесь больным, или — селямлик и встреча с Маршаллом.

Щербачев обеспечил получение пригласительного билета, в котором к званию мичмана была для солидности прибавлена какая-то дипломатическая формула «об особо важном поручении». Передавая билет Немитцу, он многозначительно добавил:

— Поберегите глаза. У Маршалла больше орденов, чем у любого из его коллег. С непривычки можно ослепнуть. Убежден, что намеренное воздействие на психику при помощи ореола от звезд входит в их расчеты. Не помогла проба вином и прочие сомнительные методы, — очевидно, теперь делается попытка воздействовать внешним величием и блеском.

— Простите, но мне это кажется нелепым…

— Дорогой, — почти зло прошипел Щербачев, — вы своим упорством в идеализме, если не в наивности заставляете меня отречься от заповеди Талейрана и сказать то, что я думаю. Дело не столько в Талейране, сколько в Зиновьеве, который не разрешил посвящать вас в игру. Во всяком случае, до поры до времени. Но я вижу, что пора. Итак, слушайте. Прибытие особого курьера с важными документами в момент, когда подписано германо-турецкое соглашение о концессии в Хайдар-паша и идет борьба за «Берлин — Багдад», не могло не привлечь внимания наших «друзей». Когда же появилась догадка, что, возможно, вы

происходите из рода Биберштейнов, это решили использовать как подарок судьбы. Но надо различать две фазы. Сперва родство служило фоном, в ожидании, пока вы сами не пожелаете осчастливить себя выгодными связями. На этом фоне делались испытания: вином, картами, одалисками, опиумом, гашишем и нежным вниманием Анны-Луизы. Неужели вы всерьез принимаете возню с вами личного друга кайзера, настоящего прусского офицера из юнкеров, майора и флигель-адъютанта? Да, с этой стороны командующий флотом знал, кого послать! Должен сознаться, что я в ваши годы был… ну, скажем, более любопытным. Теперь наступает вторая фаза: вместо грязных способов используются «чистые», хотя должен признаться, что эта «чистота» мне противнее всех штатных методов, уже безуспешно примененных. Это благосклонность к вам Анны-Луизы и игра на честолюбии потомка рыцарей. Чем больше они потеряли в первом туре, тем больше рассчитывают выиграть во втором, так как пьянство и разврат, афишированные в колонии, — если бы удалось вас соблазнить, — трудно было бы совместить с приятностью родства…

— Простите, для чего все это нужно? Неужели… Нет, я не могу и подумать… Я всегда был убежден, что для этих грязных целей существуют грязные люди, бесчестные авантюристы. А если верить вам, то сам граф, майор и даже… даже голубоглазая девушка участвуют в самом подлом ремесле. Нет! Это немыслимо!

— Ложитесь спать. Завтра — селямлик. А кроме того, разговаривать с вами в открытую еще бесполезно.

3

Роскошно убранный так называемый большой тронный зал дворца Долма-Бахче блистал от света бесчисленных хрустальных люстр, дробящих свои лучи на сотнях золоченых мундиров дипломатов и военных, обильно декорированных алмазными звездами, атласными лентами и эмалевыми орденами.

Немитц, стоя среди относительно скромных должностных чиновников, пытался найти наиболее близкое определение для зрительного впечатления и не мог не остановиться на слове «ослепительно».

Так как ему не нашлось места ни в одном из посольских ландо, следовавших кортежем от площади к дворцу, мичман добрался сюда загодя. Он с интересом осматривал дворец и съезжавшуюся знать — как турецкую, так и представляющую

интересы европейских Держав и САСШ.

Характерно, что турецкие сановники и генералы были расшиты, раззолочены и усыпаны бриллиантами значительно больше, чем их иностранные коллеги тех же рангов, — но все же покрой и форма мундиров были заимствованы в Европе. Единственно, чего нельзя было увидеть, — знаков в форме креста. Здесь мусульманская символика победила христианскую.

Еще один завет Магомета соблюден свято — нет ни одной женщины.

В какой-то момент Немитц почувствовал, что он заворожен всей этой мишурой, блеском, обилием света и монотонным жужжанием раззолоченных статистов. Но как только пропало наваждение, появились критические мысли.

Печально и даже в какой-то мере курьезно созерцать всю роскошь приема, когда память безжалостно подсказывает, что все это великолепие сияет в долг или в кредит, так как казна Блистательной порты еще со времен Крымской войны находится в состоянии беспросветного дефицита, возрастающего с годами. Кредиторы, вернее, их полномочные представители находятся тут же, так как они ведают всеми доходами султанской казны и ревниво оберегают интересы своих хозяев, сидящих в Лондоне, Берлине, Вашингтоне, Вене, Париже и Санкт-Петербурге.

Все это было известно молодому мичману. Но он не знал продолжения этой печальной истории.

Если бы послы пассивно оберегали старые капитуляции, то были бы быстро оттерты. Вот почему все эти представители и главы миссий, вплоть до самого Вильгельма II, лично совершившего своеобразное паломничество к «святым местам» и дальше — в Багдад, вели упорную и ожесточенную борьбу за новые концессии: железнодорожные, портовые, пароходные, банковские — и за удержание Проливов в сфере своего влияния. По той же причине военных мундиров на селямлике было не меньше дипломатических.

Обрюзгший султан Абдул Хамид II, одна из самых мрачных личностей в истории, проследовал к трону. На какое-то время наступила тишина.

Министр двора совместно с дуайеном[30] возглавил церемониальное прохождение мимо кровавого падишаха, которого в душе презирали и ненавидели почти все из полномочных и чрезвычайных, сейчас сладко улыбающихся. Но огромная свита турецких сановников и пашей, размещенных в соответствии с их рангом по обе стороны престола, затрудняла наблюдение.

Разобраться в таком скоплении национальностей и рас, чинов

и званий, форм и костюмов, в таком обилии ювелирных изделий, каждое из которых также имело свою степень и ранг, могли только специалисты, церемониймейстеры, посвятившие этому трудному делу много лет жизни.

По мере прохождения с протокольным поклоном и традиционной формулой поздравления главы миссий и посольств отходили и становились группами, наблюдая за другими, со злорадством отмечая ошибки и неловкости своих коллег. С каждой минутой возрастала теснота, духота и бестолковость церемониала. Возобновилось приглушенное жужжание голосов, обменивающихся банальными фразами, приличествующими празднику, или анекдотами и последними сплетнями.

Знакомые секретари из немецкого посольства, ни на минуту не выпускавшие из виду Немитца, скользя несгибающимися ногами, раскланиваясь направо и налево, подвели, вернее, подтолкнули мичмана к группе, в центре которой стоял утомленный жизнью и сегодняшним парадом Адольф Герман граф Маршалл фон Биберштейн, уже пять лет представляющий на Босфоре особу своего монарха, неуравновешенного Гогенцоллерна. Представлял, все еще ожидая своего часа, хотя это было пустым мечтанием провинциального графа из Бадена, которого сбросили с поста статс-секретаря пруссаки, окружавшие Вильгельма II.

Итак, германский сановник, опытный дипломат шестидесяти лет, высокий и солидный, а против него — русский моряк двадцати лет от роду, худенький и невысокий, выполнявший свое первое дипломатическое поручение. Вокруг них плотная, защитная стена, состоящая почти целиком из немцев, допущенных на селямлик.

Сановник действительно мог ослепить количеством и блеском звезд и орденов (не считая двух лент) на камергерском мундире, причем три высших ордена и одна лента были пожалованы ему российским императором за сомнительные заслуги перед Россией в период заключения торговых соглашений в Берлине.

Майор Морген представил графу молодого офицера.

— Так я и думал… Блондин, голубые глаза, выправка — типичный представитель нордической расы!

Немитц, который был напряжен до крайности, так как очень хотел казаться непринужденным, чуть не вспылил, настолько его задела высокомерная манера рассматривать собеседника, как породистую лошадь. Но не успел он раскрыть рта, как последовал вопрос:

— Вы, надеюсь, знаете, что в ваших жилах течет кровь

рыцарей…

Маршалл не ждал ответа, так как не допускал никаких сомнений, а тем более возражений. Как-то странно вытягиваясь и выпячивая расшитую грудь, чтобы казаться еще более величественным, он продолжал:

— …Кровь тех рыцарей, которые защищали родину, стоя на берегах Рейна. «Вахта на Рейне»! Это о нас, Биберштейнах, немецким народом сложены песни.

Глаза всех членов свиты восторженно сияли, с явным расчетом, что граф заметит наиболее ретивых патриотов.

— Приношу извинения, exzellenz, но если подобное родство существует, то, очевидно, оно очень отдаленное. Лично я узнал о такой версии здесь, в Константинополе.

Возмущенные и даже испуганные взгляды свиты. Затем раздраженный голос посла:

— Это неважно. Можно не знать, но нужно чувствовать! Если в вас есть хоть капля крови Биберштейнов, она заговорит в нужный момент. А раз вы узнали, то это должно переполнить вас гордостью и, кроме того, заставить думать о своем будущем. Или вы вовсе отвергаете бремя рыцарства, возложенное на нас историей и предками?

— Никак нет, exzellenz. Но только я считаю, что в наши дни каждый офицер должен быть рыцарем и нести бремя своей чести и воинского долга.

— Отлично сказано. Вот в этих словах чувствуется Биберштейн. Вы преуспеете, если будете прислушиваться к голосу крови.

Вздохи облегчения. Улыбки. Разрядка общего напряжения.

— Однако офицер офицеру рознь. Так же как рыцарь — рыцарю. Вот вы, например. Что подсказывает вам кровь рыцаря?

— Она… она не подсказывает, а громко и неотступно твердит мне, что раз я, как офицер, дал присягу, то никогда не должен ей изменить, а оставаться верным ей во всем, всегда! До последней капли крови, независимо от того, какого бы рода эта кровь ни была!

Как-то неожиданно получилось, что Немитц слишком приподнято, звенящим голосом произнес эту тираду, вкладывая в нее всю силу своего искреннего убеждения. Но, заканчивая ее, он осекся, чуть не прикусив язык, так как сияние померкло, и перед ним уже не было ни звезд, ни орденов, ни напряженного старого лица с острыми глазами, а виднелась лишь спина сановника, внезапно развернувшегося на каблуках. Больше того, эта спина удалялась так же, как удалялся и камергерский ключ, подвешенный ниже спины.

Наступила мертвая пауза.

Круг распался. Старшая часть свиты бросилась догонять посла, а другая часть, младшая, панически растворилась в толпе с явным расчетом сделать вид, будто ее здесь вообще не было. Она не должна была видеть и слышать происшедшего. И она не видела и не слышала ничего. Только смятенный дух и учащенное биение сердца выдавали тех, которые сейчас раскаивались в том, что упорно лезли на глаза exzellenz'a.

Немитц стоял как вкопанный. Зрительная память, как фотоаппарат, зафиксировала злые, возмущенные и растерянные физиономии. Что же случилось? Ведь он не сказал ничего обидного?!

Неизвестно откуда появившийся Щербачев твердо взял мичмана под локоть, увлек его какими-то коридорами к боковому выходу и, усадив в карету, привез в посольство. В пути не было сказано ни слова. Когда же они проходили от ворот резиденции к домику, где помещались агенты, первый советник сказал бесцветным голосом:

— Прошу вас не выходить из своей комнаты, пока не получите дальнейших указаний…

Наконец он у себя. Бросившись на тахту, Немитц решил более обстоятельно пересмотреть свое поведение за все дни пребывания в Константинополе, — он понимал, что объяснение с Зиновьевым неминуемо.

Но обилие впечатлений, реакция от напряжения и жара сделали свое дело — мичман не заметил, как уснул. Когда же открыл глаза, почувствовал в комнате присутствие постороннего человека.

Над ним стоял капитан-лейтенант Щеглов, который подчеркнуто официально сказал:

— Прошу вас одеться и следовать за мной на канонерскую лодку «Донец». Катер ждет.

В полной тишине они отвалили от грязной городской пристани и подошли к стационеру. На борт поднялся только мичман, а капитан-лейтенант, немного смущенный своей ролью, передал пакет вахтенному начальнику, после чего повернул к берегу.

4

Мичман сидел под тентом, ласкаемый легким бризом. Вот уже шестые сутки, как он «арестован при каюте», к удовольствию скучающих офицеров сонной канонерской лодки, и ничего не

знает о том, что делается на берегу. Хорошо еще, что командир разрешает ему валяться с книгой наверху, под кормовым тентом, когда корабль накаляется от щедрого босфорского солнца.

Немитца терзала неясность конца всей этой истории.

Ни одного письма или записки!

Но главной причиной терзаний было другое. Еще молодой, но достаточно умный, образованный и наблюдательный, мичман не мог себе простить того, что его обошли, обкрутили, оболванили как несмышленого ребенка.

Как он не понял сразу, что в другом месте и в другое время немецкий майор, пруссак до мозга костей, военный агент, друг германского императора, представивший проекты обороны Пролива (обороны от русских!), никогда первым не подал бы руки русскому мичману, особенно нетитулованному. А между тем майор хлопал его по плечу, предлагал пить на брудершафт, приглашал в тевтонский клуб, неоднократно таскал в аристократический яхт-клуб на интимные вечеринки и афишировал эту неожиданную дружбу под видом симпатии к родственнику своего посла Маршалла.

Как он не понял ненормальности того, что проводил время только в обществе немецких девиц или титулованных оболтусов секретарей, постепенно потеряв связи с французами и англичанами. Он даже не успел перезнакомиться со всеми членами русской колонии.

На сонном стационере вдруг торопливо зашлепали босые ноги матросов, стремящихся скрыться в кубрике, затем просвистела унтер-офицерская дудка, вслед за которой раздалась команда вахтенного начальника:

— Караул, наверх!

Однако не успела эта команда дойти до караульного помещения, как еще более резким голосом последовало:

— Отставить! — И вслед за тем, снизив тон до зловещего шепота: — Сигнальщики! Трам-тара-рам! Если еще раз прохлопаете, под винтовку поставлю с полной выкладкой! Да еще на солнцепеке!

Мичман Немитц, наблюдавший эту сцену, сразу понял, чем провинились сигнальщики: замечтавшись, они не успели заметить приближения шикарного посольского катера и не доложили с мостика на вахту, что на носовом флагштоке катера нет государственного флага. Ритуал морского хорошего тона, или, по дипломатической терминологии, «протокола», требовал обозначать присутствие на борту высокой особы соответствующим флагом или вымпелом, что позволяло ожидавшим визита принять необходимые меры для продолжения

«протокола», вплоть до салюта из пушек.

Голый флагшток подсказывал, что высокая особа приближается инкогнито, не желая привлекать к себе внимания рейда. Или что особа изволит почивать дома, а к стационеру несется чин посольства, еще не выслуживший должностного вымпела.

Когда катер встал у трапа, осторожное начальство стационера оказалось на верхней палубе в полном составе, в белоснежной форме и при кортиках. И не зря.

По трапу поднялся первый советник посольства, действительный статский советник, что в сознании командира «Донца» звучало, как генерал-лейтенант или вице-адмирал. Не дай бог опоздаешь встретить такого гостя!

Щербачев с исключительной вежливостью, смешанной с не менее явной небрежностью, — сочетание, которое вырабатывается у сановников годами, — поздоровался с офицерами, а затем, поманив к себе мичмана Немитца, удобно устроился в шезлонге под тентом. Так же вежливо и небрежно всем остальным было брошено:

— Я вас не задерживаю!

Повторять не пришлось. Обжигая севастопольского мичмана любопытными и завистливыми взглядами, офицеры, включая вахтенного начальника, растворились в надстройках и недрах корабля, не смея даже подглядывать. Остался только часовой у кормового флага, невольно оказавшийся в трех шагах от облюбованного дипломатом кресла.

Оценив обстановку, мичман почтительно заметил:

— La semtinelle entend tout![31]

На что последовало такое презрительное Je m'en fiche[32], что Немитц больше не возвращался к этой теме.

— Ну, любезный узник, благодарите бога, что попали под покровительственную руку Ивана Алексеевича.

— Никогда не думал, что мне придется кого-либо благодарить за арест.

— Э-э… судя по тону и краске на лице, вы действительно ничего не поняли. Признаюсь, я думал, что вы, э-э… сообразительнее. Садитесь и слушайте!..

Итак, вы нанесли удар, вернее, дали оплеуху человеку, который к этому не привык. Вы сделали это на глазах всего его штата. Поймите, что у него здесь, в Константинополе, и особенно в Берлине, тысячи врагов и завистников, которые пишут доносы не только Бюлову, но и самому кайзеру. Взять того же Моргена, который сейчас мечтает о пароходной концессии от Басры до Багдада. Вы настолько молоды, что не можете понять, что значит

получить такой афронт в его годы, да еще на селямлике, да еще от молокосо… э-э… Вы мне простите, но вы действительно молокосос по сравнению с бывшим статс-секретарем германского имперского правительства.

Это только, так сказать, моральная сторона дела. Но есть и практическая. Вы сорвали план привлечения вас в качестве… ну, скажем… в качестве корреспондента графа, конечно родственного корреспондента. И сорвали в последний момент, после тщательной и длительной подготовки, к которой граф так неосторожно привлек много участников, вплоть до своей очаровательной племянницы… Что это — вздох? Не станете же вы уверять, что разбито ваше юное сердце?

Немитц твердо сказал:

— Нет, вам не грозит признание в любви. Но я глубоко обижен, более того — оскорблен в лучших чувствах к людям, к подобным людям, конечно! Мне стыдно за ее роль, которую она разыгрывала по указанию дядюшки, и обидно, что я верил всем…

— Кажется, мы начинаем понимать друг друга…

Вспыливший мичман, вскочив, отчеканил:

— Ваше превосходительство! Я еще не понял, чем обязан вашему визиту и необходимости выслушивать оскорбительные остроты.

— La semtinelle entend tout! — произнес сановник, подражая давешней интонации мичмана.

— Je m'en fiche! — в тон ему отозвался обиженный офицер, хотя это и было ложью; он все больше радовался в душе тому, что этот разговор слушает хотя и посторонний для него, но настоящий русский матрос.

Щербачев потянул Немитца за рукав и усадил рядом.

— Замолчите! Да знаете ли вы, что такое старый сановник, более семи лет бывший имперским статс-секретарем и сброшенный с должности в момент, когда считал себя созревшим для роли первого министра, а может быть, и канцлера? Это сосуд, наполненный до краев желчью, жаждой мести и честолюбивой надеждой вернуться в Берлин на коне, даже если новая должность условно считается почетной. Для подобного человека этот провал хуже служебной ошибки. И вы думаете, мы используем его затруднительное положение? Нет, мой милый. Мы будем молчать. Вас, я надеюсь, удастся сплавить благополучно. Но вот майор Морген, завистливые советники и берлинские клевреты фон Бюлова, те обыграют случай на селямлике так, что граф до конца дней не простит себе эту злосчастную идею использовать в качестве своего корреспондента дальнего отпрыска Биберштейнов. Поймите, что если бы граф был в два раза моложе,

то вызвал бы вас на дуэль. Конечно, поводом послужили бы якобы непочтительные слова, сказанные в адрес этой фрейлейн. Причем свидетелей нашлось бы более двух десятков. За этим бы дело не стало.

— Какой абсурд! К тому же это нечестно и недостойно…

— О честности, когда речь заходит о дипломатических интригах, говорить не приходится, особенно на берегах Босфора. Что касается дуэли, то, несмотря на всю абсурдность, этот вариант еще не отпал. Конечно, не посол, но майор или один из военных или морских агентов должен вызвать вас, как только вы очутитесь на берегу… Знаю, знаю! Вы не можете прятаться, если вас ожидает поединок! Вот это абсурдно и, простите, смешно. Ведь поединок подстраивается с целью убрать вас с дороги, чтобы никто не мог огласить происшедшего на селямлике. Вы являетесь единственным не немцем, который присутствовал, мало того, который выступил против графа. Да поймите, что им наплевать на своего неудачливого статс-секретаря. В душе, наверное, они злорадствуют, но на карте провал комбинации, в разработке которой участвовало чуть не все посольство. И вы никогда не поймете, какое это имеет значение в период ожесточенной кампании за железнодорожную концессию, так называемую «Б-Б» — Берлин — Багдад, за пароходную на Тигре и в разгар борьбы за преимущественное военное влияние на судьбы Проливов…

Как втолковать вам, что не только немцам, но и нам, русским, невыгодно разглашение маленького конфликта. Ведь Маршалл фон Биберштейн всегда заботился о своей карьере, затем об интересах Германии, но, стараясь опутать нас торговыми соглашениями, он, прикидываясь нашим другом, не менее рьяно выступал против британской политики в Турции. Наконец, его монарх афиширует дружбу с нашим государем. Выгодно ли нам дискредитировать посла Вильгельма Второго?.. Все это очень сложно для краткой беседы. Когда станете старше и поймете — вспомните меня, старика…

А Ивану Алексеевичу вы должны поставить огромную свечу за здравие, так как он, приказав арестовать вас, спас не столько от дипломатического бреттера, сколько от наемного убийцы. Да, да, убийцы! Вы опять будете говорить о чести и рыцарстве? Так извольте знать, что вы поставили моих немецких коллег в затруднительное положение из-за вашей не по годам сдержанной манеры жить. Ведь из-за этого отпали все другие варианты. На случай, если бы русский мичман играл в карты, были распределены роли и готово обвинение в шулерстве с последующим ударом шандалом. А вы знаете, что с уличенным шулером на дуэли не дерутся. В этом случае убивает заметка в

газете под рубрикой «В городе и в свете». К счастью, русский офицер не заинтересовался ни курением опиума, ни домами свиданий, в лучшем из которых уже была подготовлена черкешенка (или египтянка, бесподобно исполняющая танец живота) и ее ревнивый любовник в роли мужа, черкес или феллах — это не имеет значения, — готовый «отомстить» гяуру за прикосновение к дочери Магомета.

Не буду посвящать вас в остальные варианты плана, которые разбил на этот раз не мичман, а наш посол. Помимо вашего ареста, его иждивением заказана по телеграфу каюта на греческом пакетботе Пирей — Одесса, который отдаст якорь на этом рейде в полдень через два дня. Капитан — наш человек. Вы переедете на «Орфей» прямо со стационера после второго гудка, на посольском катере, в сопровождении трех надежных кавасов. Дайте слово, что не будете делать попыток удрать на берег и точно выполните предписание посла.

Немитц печально склонил голову и развел руками:

— Что мне еще остается?..

— Вот и отлично. Ну, теперь, кажется, все. Нет, забыл! Иван Алексеевич просил передать вам свой привет и уведомить, что о вынужденном аресте ни слова не будет написано в Севастополь, почему ваш послужной список останется девственным.

Мичман сидел подавленный крушением своей веры в благородство людей его крута. Хотя правильнее было бы сказать — его класса. Вдруг он оживился:

— Если вы не хотите оставить меня в недоумении, прошу разъяснить следующее. Если дуэль, удар подсвечником и кинжал ревнивого черкеса отпали, что же мне тогда грозило?

— Убийство! Самое тривиальное убийство на улице или в переулке, якобы совершенное грабителями, которые ходили бы за вами по пятам до первого удобного случая. В Константинополе это случается чаще, чем упоминается в дипломатической хронике. Все зависит от суммы, израсходованной на молчание полиции…

Если вы не хотите забыть вашего мнимого родственника, то запомните его афоризм, широко известный в дипломатическом мире: «В Турции политика и интрига так неразрывно связаны между собой, что превратились почти в идентичные понятия». Здесь существует традиция, если не сказать — порядок, по которому европейские посольства нанимают гребцов-арнаутов[33] на парадные каики, служащие для воскресных прогулок по Босфору. Картинно разряженные бездельники существуют для выполнения самых грязных и опасных интриг. Это они похищают почту, ведут слежку, спаивают, а когда нужно, то и убирают с

пути нежелательных лиц. А чтобы исключить сговор между гребцами различных посольств, их вербуют из деревень, находящихся в смертельной кровной вражде. Таким образом, за франки, фунты стерлингов и доллары они продолжают борьбу, начатую их отцами в Албании. Это широко известно всем, кроме… приезжих из России мичманов.

— Благодарю вас. Теперь я знаю больше, чем мне положено по чину и по должности. Запомню надолго. И клянусь вам, что всю жизнь как огня буду бояться дипломатического поприща.

— Да, пожалуй, с вашим характером и вашими взглядами на жизнь из вас дипломата не выйдет. Дай вам бог не разочароваться в своей службе так, как это случилось при соприкосновении с нашей работой.

— Не бойтесь этого. Я знаю темные стороны морской, военной службы у нас, в России. Но все же она протекает на виду у народа и вместе с народом в виде его лучших сынов…

Когда Щербачев двинулся к трапу, на шканцах появились офицеры и боцман.

Катер красиво развернулся и через две-три минуты исчез в сутолоке пароходов, паромов, буксиров, каиков и фелюг Босфорского рейда.

С этим катером навсегда уходили многие иллюзии романтически настроенного юноши. Однако именно эта потеря была одной из тех, совокупность которых неизбежно привела к тому, что контр-адмирал А. В. Немитц осенью 1917 года стал первым красным адмиралом.

Последние часы

Евгения Петрова настолько хорошо знают и любят у нас и за рубежом, что было бы нескромностью с моей стороны пытаться нарисовать портрет этого обаятельного человека, писателя, коммуниста и участника Великой Отечественной войны.

Если я все же рискнул предложить свои воспоминания о нем, это можно оправдать только тем, что мне пришлось несколько последних часов жизни Евгения Петровича пробыть рядом с ним и видеть его в центре трагических событий, волновавших в те дни всех советских людей.

Речь идет о судьбе Севастополя и лидера «Ташкент», на котором Петров участвовал в прорыве блокады на пути из Новороссийска в Крым и обратно.

Неизбежность и обязательность цензуры во время одного из наиболее тяжелых периодов войны была естественной. Но, делая свое дело, цензура закрыла от советских читателей плотной завесой многие мысли и чувства писателя о виденном и

пережитом в июньские дни 1942 года. Та же цензура схоронила виденное и пережитое спутниками Петрова, которые находились вместе с ним на лидере «Ташкент», в Севастополе, в Новороссийске, Краснодаре и, наконец, при перелете в Москву, который оказался для Евгения Петровича роковым.

Только в самые последние годы в литературе мемуарного и исторического характера появились некоторые отрывочные упоминания о событиях тех дней, которые в свое время были известны только немногим свидетелям[34].

После первой зимней кампании мы твердо знали, что гитлеровский план так называемого «блицкрига» полностью провалился. Еще большим открытием, особенно неожиданным не столько для советских войск, сколько для немецких полчищ, увлеченных на восток, явился разгром их главной ударной группировки под Москвой.

Оказалось, что вермахт, прославившийся сравнительно легкими победами на Западе, умеет не только отступать по плану, но и беспорядочно бегать на сотни километров, чтобы избежать массового пленения. При этом Геббельсовы ссылки на мороз и на общность судеб гитлеровских дивизий и наполеоновской армии не вызывали доверия даже в глухих немецких деревнях.

И все же, несмотря на историческую победу и вызванный ею подъем, к началу кампании 1942 года тревожные мысли беспокоили многих из тех, кто знал обстановку.

Враг был еще очень силен. И поскольку ему необходимо было спасать не только военный престиж Гитлера и германского генерального штаба, но и политическое лицо всей системы фашистского рейха, фюрерами всех рангов были приняты чрезвычайные меры по формированию новых дивизий. Были выжаты соки из сателлитов и мобилизована вся индустрия покоренной Европы, с расчетом, что успех следующего броска на Восток поможет восстановить репутацию вермахта и не только ободрит растерявшихся союзников Гитлера, но и устранит сомнения выжидавших соседей (Турция, Швеция) и осторожность политических союзников (Япония, Испания).

И хотя наш народ напрягал все силы в тылу, бойцы самоотверженно дрались на фронте, а партизаны — за линией фронта, хотя генеральный штаб, готовясь к новому активному отпору, учитывал опыт первого года войны, — у Советской Армии все еще не было необходимого преимущества в силах и средствах ни на земле, ни в воздухе, ни на море.

Нужно ли напоминать, что именно в этот критический период союзники СССР действовали наименее эффективно, ограничиваясь посулами и восторгами по поводу стойкости

нашего народа и армии.

Беспримерный героизм защитников Одессы и еще большая стойкость гарнизона Севастополя задержали продвижение правого фланга южной группы германских войск, наступавших вдоль побережья Черного моря. И несмотря на то, что были сорваны все сроки выхода армии захватчиков к Волге и Кавказу, для защитников Северо-Кавказского направления весна начиналась очень неблагоприятно. Воспользовавшись ошибками командования Крымского фронта, немцам удалось 8 мая внезапным ударом прорвать наши боевые порядки на Керченском полуострове и к концу месяца захватить Керчь.

Теперь Крым был в руках армии Манштейна, и, помимо угрозы возможного форсирования пролива для высадки на Таманском берегу, значительно ухудшилось положение гарнизона СОР (Севастопольского оборонительного района).

Срочный вызов по поводу предложений командования фронтом и адмирала Октябрьского, остававшегося в Севастополе, привел меня в начале июня в Москву.

Уже в третий раз с начала войны мне пришлось прилетать по вызову в столицу, и время здесь неизменно протекало по своеобразному стандарту. Гостиница «Москва» — предварительный доклад тогда еще генерал-полковнику Василевскому и адмиралу Кузнецову, затем доклад в Кремле — и опять гостиница, до отъезда на аэродром с рассветом следующего дня.

Так было и в этот раз.

Гостиница «Москва» была в ту пору своеобразным штабом писателей-фронтовиков, работавших в «Правде», «Известиях» или в «Красной звезде». Затемненные, неуютные в то время номера «Москвы» нужны были этим людям только для того, чтобы созвониться с редакциями и написать в человеческих условиях то, что накопилось, наболело и что не укладывалось в листки блокнота, коробившегося на ящике из-под гранат, в блиндаже.

Почему-то тогда преобладало мнение, что военные корреспонденты пишут, обращаясь преимущественно к миллионам трудящихся, обеспечивающих фронт своей работой в тылу. Очевидно, в какой-то мере это так сначала и было. По очень скоро оказалось, что бойцы в дотах, дзотах и в траншеях переднего края тоже с нетерпением ожидают прихода московских газет, и не из интереса к сенсационным материалам, а стремясь уяснить себе смысл исторических событий, участниками которых они являются. С другой же стороны, военные корреспонденты стремились лично видеть самые острые моменты борьбы,

побывать там, где шла боевая работа, страда пехотинцев, летчиков и моряков, «побывать в их шкуре», с тем чтобы лучше понять их психологию, настроения, их волю к победе, мечты…

Ради достоверности каждого слова, ради возможности свидетельствовать перед всем миром правду о войне, наконец, ради морального права говорить от имени советского солдата многие из фронтовых писателей рисковали жизнью, и не всегда в тех случаях, когда этого требовал хладнокровный расчет. Нелегко ведь рассчитывать и взвешивать каждый свой шаг, находясь в горячее время в составе боевых порядков.

А ведь война только разгоралась.

И никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице «Москва», не думал, что следующий, кому предстоит дорого заплатить за стремление все увидеть и все понять, находится среди нас.

Во многом схожий со своими собратьями, особенно по целеустремленности и сознанию ответственности перед народом, Евгений Петров казался только более порывистым и нетерпеливым.

Услышав несколько кратких рассказов об удивительных делах защитников Севастополя и об условиях, в которых приходится перебрасывать для них пополнения и вывозить раненых на миноносцах, самолетах и подводных лодках, Петров мгновенно загорелся желанием сейчас же, немедленно лететь в Краснодар. И конечно, с тем, чтобы потом пробираться дальше, в Севастополь.

Несмотря на то что записные книжки его были полны нереализованными замыслами в связи с последней поездкой на Северный фронт, он решил бросить все. С этого момента ему все и всё мешало, и он чуть не насильно увлек меня двумя этажами выше, в свой номер.

Здесь, с почти мальчишеской гордостью показав трофейный автомат, подаренный ему на фронте (он лежал у него в среднем ящике письменного стола), Евгений Петрович снова стал горячо убеждать взять его утром в самолет. При этом он хватал меня за плечи, обнимал, пытался угощать, клялся выполнять все ограничительные требования и, еще не добившись согласия, стал укладывать белье в маленький чемоданчик.

Наконец условились, что без командировочного предписания от Главполитуправления Петрову лететь нельзя. Насчет же поездки в Севастополь решили добиваться согласия командующего фронтом, на месте.

Так или иначе, но, преодолев или обойдя несколько

препятствий, Евгений Петрович появился через сутки на аэродроме, притащив какую-то бумагу со штампом, которую он успел достать только потому, что Генеральный штаб задержал мой вылет на сутки.

Летели мы в Краснодар, через Сталинград, но о полете я ничего не помню, так как отсыпался после Москвы и в предвидении черноморских дел так крепко, что даже необыкновенно оживленный спутник не мог мне помешать.

В Краснодаре, еще не осмотревшись, Евгений Петрович начал с просьбы (если не с требования!) разрешить ему отправиться в осажденную Главную базу Черноморского флота.

Нелепо сейчас говорить о каких-либо предчувствиях, тем более что погиб Петров не под Севастополем. Но вероятность такой гибели была очень велика, так как именно в этот период черноморцы потеряли подряд несколько кораблей из числа блокадопрорывателей. Поэтому вся хитрость заключалась в том, чтобы отдалить путешествие писателя в Севастополь до улучшения обстановки.

Пришлось очень скупо рассказать об общем положении в Крыму, на Тамани и в Азовском море после падения Керчи, о чем, по понятным соображениям, Совинформбюро не делало никаких сообщений.

В этот период по ряду признаков можно было ждать десанта на Таманский полуостров как из Керчи, так и из Мариуполя; знали мы и о намерении фашистской южной группы армий еще раз прорваться к Ростову и форсировать Дон.

Петрову были предложены на выбор очень интересные участки фронта, однако он настаивал на своем, пока же согласился съездить в Новороссийск, очевидно рассчитывая проскочить в Севастополь без разрешения начальства.

Сначала всем нам казалось, что настойчивость Петрова отчасти объясняется тем, что он до конца не представляет себе всех сложностей, риска и опасностей, которым подвергаются блокадопрорыватели.

Ведь в штабах и политотделах, вместо терминов «прорвался» или «форсировал с боем», можно было слышать лишь фразы: «„Ташкент“ возвратился из Севастополя и вывез столько-то раненых…» Или: «Вернулась из Главной базы „малютка №…“, доставив туда боезапас и авиабензин…»

Профессиональная традиция состояла в том, чтобы избегать громких фраз, и непосвященному трудно было понять подлинное значение слова «возвратился». А если один из кораблей не

возвращался из похода, то об этом вовсе не говорили с непосвященными и не сообщали в открытых сводках. Таким образом, общая картина морских коммуникаций с блокированной базой со стороны выглядела довольно спокойно.

Но когда Евгений Петрович возвратился в Краснодар из Новороссийска, где он сам видел «благополучно прорвавшиеся» корабли и подводные лодки, говорил с матросами и офицерами, настойчиво выпытывая у них все детали операций, и где, наконец, член Военсовета ЧФ И. И. Азаров разъяснил ему обстановку в самом Севастополе, предположение о недостаточной осведомленности Петрова отпало[35].

И вот тогда полностью раскрылся не только характер Петрова, но и его понимание своего профессионального долга. Информация от уцелевших людей, полученная на палубе корабля, трубы и надстройки которого были продырявлены осколками, а стволы зениток покрыты обгоревшей краской, — эти живые и образные рассказы, которые отбили бы охоту у многих поглядеть своими глазами на «прорыв блокады», еще больше укрепили желание Евгения Петровича во что бы то ни стало попасть в Севастополь.

Не хочется вспоминать последний разговор с ним перед выходом в море. Разговор был тягучим, нудным и неискренним по моей вине, так как самого серьезного довода нельзя было сказать вслух именно ему, Петрову. А он упорно добивался своего, и не столько логичностью доводов, сколько обезоруживающей искренностью. Что же касается разговора о риске, то его он вообще не принимал и, выслушивая наши предостережения, злился, так как считал, что обязан рисковать, когда это нужно для дела.

Помирились мы, только когда он дал честное слово не сходить с корабля и возвратиться обратным рейсом на нем же.

— Но ведь это означает только одну ночь? Что же я успею увидеть?

— Даже меньше… Всего два или три часа в Севастополе, но вы увидите все!

Только потом он понял значение этого малоубедительного посула.

Забегая вперед, надо сказать, что, по рассказам командира «Ташкента» и по заверениям самого Евгения Петровича, он сходил с корабля лишь на импровизированный причал и прилежащий край берега, где складывались выгружаемые ящики с боезапасом и стояли рядами носилки с ранеными, ожидавшими эвакуации на Большую землю, так что данное слово он сдержал. Но «послушание» Петрова объяснялось просто — наблюдать

происходящее было выгоднее всего, оставаясь на лидере и поднявшись на мостик, откуда открывалась панорама ночного штурма осажденной крепости.

Но вернемся к рассказу.

На каком именно корабле Петрову идти, нельзя было решать в Краснодаре, и это было предоставлено адмиралам И. Д. Елисееву и И. И. Азарову, непосредственно из Новороссийска руководившим операциями блокадопрорывателей и питанием Севастополя. Азаров познакомил Е. Петрова с командиром «Ташкента» капитаном третьего ранга В. И. Ерошенко и проводил писателя на лидер.

26 июня 1942 года, в 14 часов, «Ташкент» вышел из Новороссийска, имея на борту более тысячи бойцов пополнения из состава Сибирской стрелковой бригады и до предела загруженный боезапасом и продовольствием для защитников города-героя.

За несколько часов до этого с той же целью вышел в Севастополь также перегруженный эсминец «Безупречный».

Была тихая и ясная погода, обычная для летних месяцев на Черном море.

Сам Евгений Петров в незаконченном очерке «Прорыв блокады»[36] назвал операцию «Ташкента» «образцом дерзкого прорыва», в котором так наглядно выявилась «воинская доблесть, величие и красота человеческого духа».

Здесь нет преувеличений, часто неизбежных вследствие журналистских навыков или сильных эмоций, пережитых самим наблюдателем. Чтобы в этом убедиться, достаточно напомнить факты, о которых по цензурным условиям не было написано в свое время.

Захватив Керченский полуостров, фашисты получили возможность разместить аэродромы своей торпедоносной и бомбардировочной авиации параллельно маршруту движения наших кораблей из Новороссийска в Севастополь. Это позволяло немцам все светлое время суток атаковать корабли, прорывающиеся в блокированную базу или возвращающиеся оттуда, причем краткость расстояния до трассы кораблей давала возможность атаковать повторно, после перезарядки машин.

Второе важное обстоятельство. С момента, когда весь плацдарм СОРа стал простреливаться фашистской осадной артиллерией, командование СОРа оказалось в тяжелейшем положении, так как летчики и самолеты гибли на земле от артиллерийского огня, не имея возможности даже подняться в воздух. В то же время советские истребители, базировавшиеся на

Северном Кавказе, из-за дальности расстояния не могли прикрывать наши блокадопрорыватели дальше меридиана Керченского пролива.

Но и это еще не все.

Наши корабли должны были приходить в Севастополь в темноте и еще до рассвета уходить за пределы действия осадной авиации и артиллерии. А это позволяло фашистам предвычислять местоположение любого нашего корабля, как только он обнаруживался разведчиками. Продолжительность темного времени суток, скорость хода наших кораблей и их генеральные курсы были известны. Остальное достигалось элементарным математическим расчетом.

По всем этим причинам прорыв блокады был одним из самых тягостных испытаний для черноморцев, так как, выходя в море в ясную погоду, они с большой степенью точности знали, когда могут быть обнаружены противником. Разведка неизменно сопровождалась атакой бомбардировщиков или торпедоносцев, затем обычно следовала небольшая пауза и повторный налет второго эшелона. При этом неравенство сил было настолько ощутительно, что атаки немецких и итальянских подводных лодок, блокирующих подходы к Севастополю, наши черноморские эсминцы презрительно почти не учитывали, хотя для транспортов и тихоходных судов они были весьма опасны.

Наконец, к моменту подхода к южным берегам Крыма, с наступлением темноты, блокадопрорыватели подвергались атакам итальянских или немецких торпедных катеров, базировавшихся на Ялту и Балаклаву.

Таковы были условия прорыва блокады, не считая громадного числа мин заграждения при подходе к берегам и артиллерийских обстрелов во время пребывания в одной из бухт осажденной базы.

«Люди точно знали, на что они идут».

Так писал Евгений Петров об экипаже лидера в начале своего рассказа о подробностях боевых действий, участником которых пришлось ему быть. И именно в этом прежде всего заключалось величие и смысл подвига советских людей.

Мало кто знает, что лидер «Ташкент» и эсминец «Безупречный», 21 июня прорвавшись с боем в Севастополь и возвратившись утром 23-го числа, на следующий день опять были отправлены в повторный рейс, из которого вернулись в Новороссийск к утру 25 июня. И на этот раз к числу раненых, эвакуируемых из города-героя, прибавились не только новые раненые, но и убитые из своих экипажей, так как в обоих переходах пришлось выдержать несколько боев с торпедоносцами и бомбардировщиками, преследовавшими корабли почти все

светлое время суток.

Это значит, что прорыв 26 июня корабли начинали *в третий раз в течение недели*. Начинали не отдохнув, потому что все время с утра 25-го до выхода на следующий день ушло на приемку топлива и зенитных патронов и лент, а также на размещение сибиряков и погрузку ящиков с боезапасом и продовольствием для осажденных. Немало усилий и часов потребовал также ремонт корпусов и механизмов, пострадавших от близких разрывов крупных бомб, от осколков и от форсирования главных машин и рулевых устройств при многократном уклонении от фашистских атак.

Вот что означала фраза: «Люди точно знали, на что они идут».

Сам Петров пока знал об этом только по рассказам, но, вероятно, эти слова были написаны при возвращении в Новороссийск. Только теперь он мог полностью понять цену той скромности и деловитости, какие были свойственны людям, точно знавшим, что предстояло им в очередном прорыве.

В военно-морском оперативном лексиконе есть понятие «напряжение использования сил». В очень упрощенном толковании это означает отношение числа ходовых дней (техническое напряжение) или боевых дней (оперативное напряжение) к числу дней стоянки в базах, на ремонте и отдыхе. Если взять эту относительную величину применительно к двум названным кораблям Черноморского флота для второй половины июня 1942 года, то можно засвидетельствовать, что примеров подобного боевого напряжения не знает история второй мировой войны на море. Таким образом, лаконичная оценка Петрова — «образец дерзкого прорыва и высокой воинской доблести» — получает значение объективного свидетельства.

Итак, Петров испытал в эти часы все, что его друзья на «Ташкенте» испытывали дважды в неделю.

Вражеский разведчик. За ним — длительный бой с самолетами. Бомбы у борта, за кормой или перед форштевнем. Изумительное по мастерству, расчету и хладнокровию маневрирование Ерошенко, с яростью и ликованием срывавшего все усилия фашистов. Оглушающие залпы зениток, к которым сибиряки добавляют огонь своих пулеметов, раненые и убитые, — словом, все то, чем неизбежно сопровождаются подобные боевые столкновения, вплоть до «ура» в момент, когда самолеты «люфтваффе» врезываются в воду.

Дальше «по расписанию», как говорили черноморцы, спустя час или два надо было ждать второго боя. Но на этот раз

«расписание» оказалось нарушенным, словно специально для того, чтобы Евгений Петрович стал участником особенно тяжелой и трагической коллизии, какие возникают только в современной войне.

Около 19 часов впереди по курсу, там, где, по расчетам, должен был находиться прорывающийся первым «Безупречный», Петров и его боевые товарищи заметили необычный по высоте столб дыма и пара, взметнувшийся к небу. В момент подхода к месту закончившегося только что боя эсминца уже не было на воде. В озерах мазута, среди деревянных обломков плавали немногие уцелевшие моряки и армейцы.

Естественное стремление остановиться, спустить шлюпки и попытаться спасти товарищей с «Безупречного» сразу же было парализовано новыми атаками «юнкерсов». Верные своим традициям, фашистские летчики расстреливали беспомощных людей из пулеметов. Остановка лидера создавала крайне выгодное для немцев положение.

Трудно представить более тягостную и мучительную дилемму.

Оставаться на месте — значило спасти десять — двадцать товарищей, но почти наверняка погубить корабль, на котором было полторы тысячи человек, а также пополнение, боезапас и продовольствие для Севастополя. Маневрировать на полных ходах и крутых циркуляциях, уклоняясь от бомб и торпед, — это значило своими же винтами рубить тех, кто еще держался на воде. Но как бросить погибающих и уйти? Как сделать этот шаг, если человеческая совесть, морская традиция яростно против этого протестуют?!

И все же Ерошенко, с болью в сердце, выходит из мазутного пятна, предварительно выбросив спасательные круги и пояса и увлекая за собой часть немецких асов. Одновременно он дает радио о происшедшем, прося разрешения возвратиться к месту гибели «Безупречного» с наступлением темноты.

Разумеется, ему это запрещают.

Нетрудно представить себе, как тяжело было командованию флота давать такое приказание, но оно не могло быть иным. Спасение уцелевших отняло бы в темноте не менее двух часов, а использование прожекторов было бы в этих условиях самоубийством. Помимо того, не менее двух часов пришлось бы затратить на отход и возвращение. Безусловно, если бы лидер шел без солдат и грузов, ему было бы предписано спасти всех оставшихся в живых. Но «Ташкент» вместе с другими миноносцами, подводными лодками и транспортными самолетами помогал Севастополю держаться, сковывая в Крыму

до одной трети миллиона вермахта — те самые дивизии, которые по плану «OKW» должны были с весны маршировать к предгорьям Кавказа.

И именно потому, что погиб «Безупречный», а с ним пополнение и боезапас, не достигшие Севастополя, приход туда «Ташкента» был вдвойне необходим.

Позднее Евгений Петрович говорил мне, что все это стало ему понятно после разговора с командиром лидера, который переживал происшедшее так же тяжко, как и он. Но самые логичные и убедительные доводы не могли помочь им обоим освободиться от горького ощущения и мрачных мыслей о судьбе советских людей, расстреливаемых в воде фашистскими убийцами[37].

Оставался последний этап прорыва в Севастополь — форсирование входного фарватера, ведущего через минные заграждения. И поскольку приходилось осуществлять его в полной темноте, все внимание стоявших на мостике было сосредоточено на выполнении этой задачи.

Но судьбе было угодно обогатить запас впечатлений военного корреспондента еще одним боевым эпизодом.

На меридиане Аю-Дага «Ташкент» был атакован итальянскими торпедными катерами («MAS»), базировавшимися на Ялту. Однако этот эпизод, не менее опасный для лидера, чем атаки самолетов, не произвел сильного впечатления на Евгения Петровича. Как он потом рассказывал, его слепил огонь пушек главного калибра, и, кроме крутых циркуляций корабля, уклоняющегося от торпед, Петров ничего не видел. Впрочем, из-за осторожности итальянцев их не видел даже Ерошенко, который маневрировал по расчету, исходя из разгаданных действий противника.

А еще через два часа (в 23 часа 15 минут) «Ташкент» стал наконец у импровизированного причала в Камышовой бухте и начал разгрузку солдат и боезапаса.

Наконец-то Петров был в Севастополе, куда он так стремился.

Теперь он получил возможность в течение нескольких часов наблюдать страшную и в то же время величественную картину генерального штурма осажденной приморской крепости, причем это был штурм последний в истории войн по своей классической форме сужающегося огненного кольца. Разрывы многих тысяч бомб, снарядов, гранат и мин и вслед за ними облака пыли и дыма, сквозь которые угадывалось движение немецких гренадеров, в подавляющем большинстве обреченных на гибель очередным «последним» приказом своего фюрера.

Только страх перед расправой и усиление армии эсэсовскими частями и полевой жандармерией позволили добиться того ожесточения, с которым лезли тогда вперед немецкие части.

Петров ожидал, что увидит только один из участков обороны СОРа, наиболее приближенный к Камышовой бухте. Но перед его глазами в темноте горело и трепетало огненное полукольцо почти всего оборонительного обвода.

Это полукольцо сейчас настолько сжалось, что почти всю оборону, весь СОР, можно было наблюдать с мостика «Ташкента» («плацдарм… оказался меньше, чем я думал», — писал Петров).

Слитный гул сплошной канонады, временами покрываемый разрывами самых тяжелых бомб или снарядов, вскоре уже не воспринимался слухом.

Некоторое время Евгений Петрович жадно всматривался в неповторимую картину. Затем, забыв о своих корреспондентских обязанностях, он превратился в добровольца-санитара и стал помогать носить и размещать раненых севастопольцев в кубриках и отсеках лидера.

Поскольку в пределах СОРа не было ни одного непростреливаемого участка, несколько залпов 150-миллиметровых снарядов «обшарили» Камышовую бухту. Немцы знали, что здесь обычно разгружались блокадопрорыватели, однако, поскольку все работы на «Ташкенте» производились в абсолютной темноте, обстрел не причинил особого вреда.

С командующим СОРом адмиралом Октябрьским или с членом Военсовета Кулаковым Петрову увидеться не удалось. Да и вряд ли у них нашлось бы время для интервью корреспонденту или для дружеской беседы с писателем. Ведь более двухсот сорока суток, днем и ночью, армейцы, рабочие подземных мастерских вместе с жителями города обороняли его, сделав подступы к Севастополю огромными могилами для гитлеровских дивизий. И оборона велась при недостатке пополнений, боезапаса, медикаментов, продовольствия и даже питьевой воды. Вот почему прорыв каждого корабля с Кавказа был для Севастополя важнейшим событием.

Ерошенко, зная, на что он идет, взял на корабль около 2100 лежащих на носилках и способных передвигаться раненых, а также ожидавших эвакуации женщин и детей. Это число было выше всяких норм и возможностей, к тому же еще предстоял неизбежный бой при обратном прорыве.

Наконец во втором часу ночи на 27 июля перегруженный сверх всякой меры лидер вышел в Новороссийск.

Петров все время был с ранеными. Особенно много приходилось поить этих беспомощных людей, которым в условиях

осажденной крепости нельзя было давать воды вдоволь. При этом Евгений Петрович узнал от раненых и эвакуируемых о Севастополе больше, чем мог бы увидеть сам.

Обратный прорыв протекал по «расписанию» и, к сожалению, опять при ясной погоде.

Обозленные фашисты, увидя невредимый «Ташкент» в 4 часа утра, бросили против него несколько эскадрилий, которые, последовательно сменяясь, непрерывно атаковали его с 5 до 8 часов 30 минут, сбросив за это время 336 крупных бомб.

Три с половиной часа лидер маневрировал предельными ходами, уклоняясь от прямых попаданий и в то же время стараясь продвигаться на восток.

Обязанности санитара мешали Евгению Петровичу следить за обстановкой, но он видел, что прибавляется не только число новых раненых, но есть уже и убитые осколками или близкими взрывами. Он знал, что сбито два двухмоторных самолета врага, но в то же время заметил: «Ташкент» постепенно теряет скорость хода.

Мощные взрывы вплотную к корпусу корабля разорвали несколько швов и сделали пробоины. Еще хуже было то, что от сильных сотрясений были повреждены фундаменты котлов и машин.

Теперь в ответ на донесения командира вступил в действие механизм оказания помощи, и из Новороссийска вышли торпедные катера, эсминец «Сообразительный», спасательное судно «Юпитер» и др. Когда же лидер продвинулся в пределы радиуса действия истребителей, над раненым «Ташкентом» появились наши самолеты. Это решило судьбу корабля, так как фашисты не рискнули вступить в драку и возвратились на крымские аэродромы.

В дальнейшем оказалось, что двойной прорыв с боем, гибель «Безупречного», Севастополь, горящий в кольце штурма, и лидер, забитый сверх меры ранеными, — это еще не все, что суждено было испытать Петрову. Вдобавок ко всему он стал свидетелем кораблекрушения от боевых повреждений.

«Ташкент», несмотря на все усилия экипажа и работу отливных механизмов, принял через пробоины около тысячи тонн забортной воды, то есть около трети собственного водоизмещения!

Погрузившись до предела, полузатопленный, он шел малым ходом. Искусство аварийных партий поддерживало его на плаву, но как долго выдержат переборки, сказать никто не мог. Появление волны или близкое падение бомбы неизбежно привело

бы к катастрофе.

Раненых и эвакуируемых перевели на эсминец и катера, но только после подхода «Юпитера» можно было (да и то без гарантий!) надеяться на благополучное возвращение в Новороссийск.

Конечно, после перевода раненых Евгению Петровичу было предложено перейти с аварийного лидера, однако он не захотел оставить своих друзей, с которыми вместе пережил так много, и наотрез отказался уйти, хотя риск налета фашистской авиации на поврежденный корабль был весьма реален. И может быть, главную роль в этом решении сыграло то, что в одном из нижних отсеков корабля, внезапно затопленного через пробоину от близкого разрыва, осталось несколько тяжело раненных севастопольцев, спасти которых не было никакой возможности.

Петров не только дошел с ними до Новороссийска, по и проводил их на кладбище.

За полгода до начала второй мировой войны мне случайно пришлось наблюдать, как американские журналисты, обогнав таможенников и иммигрантскую администрацию, брали на абордаж трансатлантический лайнер «Аквитанию» при его подходе к Нью-Йорку и как затем спешили в редакции еще до того, как «Аквитания» была установлена у пирса.

Петров, если бы он имел подобную жилку «деловитости» американских корреспондентов, безусловно перепрыгнул бы с «Ташкента» на один из торпедных катеров, которые встретили тяжело поврежденный корабль, за шестьдесят миль не доходя до базы, и выиграл бы часов шесть, чтобы послать свою первую корреспонденцию. Во всяком случае, так поступил бы любой из его зарубежных коллег.

Все, кто видел Петрова в последние часы, могут засвидетельствовать, что он не торопился в Москву, так же как не торопился на скорую руку использовать для корреспонденции ту массу наблюдений и впечатлений, которую он накопил с момента выхода в море.

Больше того. Когда, возвратившись в Краснодар, он узнал, что командование фронта отправляется в Новороссийск, чтобы поблагодарить экипаж «Ташкента», Евгений Петрович попросил взять его с собой. Ташкентцы встретили его как старого боевого друга, а ради этого, право же, стоило потерять двое суток.

Но, вероятно, у каждого человека, в зависимости от его физиологической конституции, есть свой предел насыщения новыми сильными впечатлениями. Переступив через этот порог, можно довести человека до истерического взрыва или до

необычной апатии до тех пор, пока не восстановится запас нервной энергии. Очевидно, в последнем случае действует механизм защитного торможения, оберегающий человека от опасных перегрузок.

Вернувшись в Краснодар, Петров казался словно притихшим. Такой же обаятельный, общительный, всем интересующийся, так же щедро и всегда с юмором повествующий о своих впечатлениях, он стал чуть более тихим и молчаливым.

Конечно, такое поведение могло быть следствием физического переутомления, как считали общавшиеся с ним моряки. Всем было хорошо известно, что с момента выхода «Ташкента» из Новороссийска Евгений Петрович не заснул ни на минуту. Было известно также, что при спасении раненых и эвакуируемых на лидере корреспондент «Красной звезды» работал как санитар-доброволец; когда же начался аврал борьбы за живучесть тяжело поврежденного корабля, Евгений Петрович стал вспомогательным номером в одной из аварийных партий. Разумеется, физическое утомление давало себя знать, тем более что из-за нервного перевозбуждения он долго не мог заснуть, когда представилась такая возможность. Но он не был надломлен или травмирован настолько сильно, чтобы потерять себя.

Нет, это был все тот же Евгений Петров, но менее экспансивный, чем прежде, похожий на человека, который смотрит не столько вокруг, сколько внутрь себя. Человек, увидевший новое в людях, да и в самом себе.

Ночью накануне его отлета в Москву мы несколько часов провели вместе.

Ни у кого не было охоты рассказывать ему о положении в Крыму, о котором в сводке Совинформбюро говорилось, что «на Севастопольском участке фронта противнику ценой огромных потерь удалось продвинуться вперед». Ведь Евгений Петрович был достаточно сведущ в военных делах, чтобы догадаться по смыслу этих сводок о близком финале, особенно после того, как сам побывал в Севастополе три дня назад.

Разошлись поздно.

Но когда за два часа до назначенного отлета я вышел на залитую солнцем веранду, всю увитую виноградными лозами, оказалось, что Евгений Петрович спит на тахте не раздеваясь, а кругом — на перилах, на лестнице, на стульях — лежат листки его записей. Каждый листок придавлен камушком, принесенным из сада, а рядом с изголовьем висит кожаная полевая сумка, еще темная от впитавшейся воды и с потеками морской соли.

Улетал Петров, казалось, в отличном настроении. Очевидно,

три часа сна восстановили его силы. Во всяком случае, он хотел казаться бодрым и жизнерадостным.

Утро было прекрасное.

Конечно, это была слабость с моей стороны, но даже теперь, провожая его на аэродром, мне не хотелось на прощание сообщать ему более поздние и более мрачные вести о Севастополе.

Обстановка требовала моего присутствия в штабе фронта, и, как только убрали дюралевую лесенку, приставленную к двери «Дугласа», я поспешил уехать.

И вот около 16 часов меня вызвали к специальному телефону.

— Вы такой-то?

— Да, я!

— Вы отправили утром «дуглас» с писателем Евгением Петровым?

— Да, я!

— К сожалению, мы должны известить вас, что Петров разбился…

— Кто со мной говорит? — крикнул я, еще на что-то надеясь.

— Уполномоченный НКВД из Чертково.

Сочетание трагических событий, связанных с судьбой любимого всеми нами писателя, необыкновенно.

2 июля 1942 года, именно в те часы, когда Петров летел в Москву, фашистская авиация произвела внезапный и мощный налет бомбардировщиков на Новороссийскую военно-морскую базу. Наиболее серьезным следствием этого налета была гибель лидера «Ташкент», затонувшего у пирса, где он стоял после возвращения из Севастополя.

А еще через сутки советские граждане, бойцы на всех фронтах, наши союзники, а также враги узнали из специального сообщения «250 дней героической обороны Севастополя» о том, как пал Севастополь и как высоко партия, народ и Верховное командование оценили небывалый в истории подвиг защитников города-героя.

Не многим дано пройти через испытания, какие выпали на долю Петрова, и до конца остаться самим собой. Значительность исторических событий сначала отвлекала внимание от его трагической гибели, но очень скоро мы поняли, кого потеряли. И горько пожалели о том, что Петрову довелось увидеть лишь тот этап войны, когда гитлеровцы шли на восток, и только камень на могиле писателя стал свидетелем ожесточенных боев, в которых Советская Армия безудержно гнала на запад, добивая ненавистные Петрову фашистские полчища.

notes

Примечания

1

«Вступают в море тьмы неизреченной…» (Из «Элеоноры» Эдгара По, перевод К. Бальмонта.).

2

Флаг Британского королевского флота по традиции называется флагом св. Георга и имеет красный крест на белом полотнище.

3

Лазарь Бичерахов — один из военных главарей контрреволюции, действовавший в Северном Иране, Азербайджане и Дагестане. Друг и союзник английских интервентов. Длительное время держал свою штаб-квартиру в захваченном им Петровск-порте, переименованном при советской власти в Махачкалу.

4

К норд-весту от Гавайских островов. По заключению самого Лисянского, сделавшего первую опись острова и определение координат, широта его средней точки оказалась 26°2′48″ и долгота — 173°35′45″ от Гринвича.

УВМС — Управление Военно-Морских Сил.

6

Марсофлот — опытный моряк, знающий и любящий морское дело (профессиональный жаргон).

УБП — принятое сокращение: учебно-боевая подготовка.

8

Маркизова лужа — традиционное у балтийских моряков название мелководного района Невской губы, заключенного между линией Лисий Нос — Кронштадт — Ораниенбаум и устьем Невы. Происхождение этого названия относится к периоду управления Морским министерством Российской империи маркизом Жаном Франсуа де Траверсе (1754–1830), французским эмигрантом-роялистом, спасшимся от гильотины и обласканным Александром I. Для экономии маркиз, которого современники величали Иваном Ивановичем, отменил дальние плавания, вследствие чего кораблям Балтийского флота пришлось «топтаться» вокруг Кронштадта. Флот пришел в упадок. Маркиза ненавидели и увековечили его титулом опостылевший плес Невской губы.

9

Историческое название небольшого ковша, врезанного в берег, со стенками, облицованными гранитом чуть не при Петре Великом; имеет выход в море через Лесную гавань.

10

Небольшая яхта международного класса «Дракон» с так называемым бермудским вооружением и кокпитом с козырьком. Рассчитана на три-четыре человека, но искусный яхтсмен может управлять «Драконом» один.

11

Ныне Ломоносов, до 1948 года назывался Ораниенбаумом, на флотском жаргоне для сокращения именовался Рамбовом.

12

СНиС — официально принятое сокращение Службы наблюдения и связи.

13

22 сентября 1914 года в Северном море немецкой подводной лодкой «U-9» были потоплены три английских крейсера: «Абукир», за ним «Хог», спасавший людей с первого, и «Кресси», спасавший команды с первых двух крейсеров.

Сейчас, сию минуту! *(итал., нем., анг.)*.

15

ОВР — сокращение: Охрана водного района.

Эмбаркация — обратная посадка войск на суда.

17

Канонерские лодки «Бурея», «Зея» и «Кама» были переоборудованы из землеотвозных шаланд в июне 1941 года. Они имели водоизмещение около 1200 тонн (эсминцы — 1500–1800); силу машин около 1000 HP (эсминцы — 40 000) и максимальный ход 7 узлов (эсминцы — более 35 узлов).

18

Мало кто знает, что для перерыва этой коммуникации против нее действовали не только финские и германские боевые катера, канонерки и самолеты, но даже переброшенные из Средиземного моря итальянские торпедные катера.

19

Придется как-нибудь рассказать, почему в неофициальных обращениях укоренилась привычка называть друг друга «синьорами» и «грандами».

20

Разбился в США во время испытаний закупленных Россией истребителей.

21

Генмор — Морской Генеральный штаб.

22

Документы Северского хранятся в Центральном военно-морском архиве.

23

Умер в Ленинграде 19 апреля 1958 года профессором и начальником кафедры Морской академии, в звании генерал-майора авиации.

24

Э. Миндлин. «Красин» во льдах. Детгиз, 1961. Было бы печально, если некоторые взрослые дяди, прочтя на титуле наименование издательства, отложили бы эту книгу для детей. Книга написана для всех возрастов, и написана хорошо.

25

Русское посольство *(франц.)*.

26

Специальный пропуск, выдаваемый дипломатическим представителям, освобождающий от осмотра багажа.

27

Селямлик — торжественный выезд султана в мечеть на праздничное богослужение, который сопровождается парадом войск и последующим большим приемом дипломатического корпуса.

28

Так официально именовались атташе.

29

Cavas — так называемая «консульская гвардия», нанимаемая посольствами в странах Леванта. Обычно носят вычурные национальные костюмы и выполняют обязанности охранников, швейцаров, курьеров и т. п.

30

Старейшина дипломатического корпуса.

31

Часовой все слышит! *(франц.)*.

32

Наплевать! *(франц. жаргон)*.

33

В Турции албанцев принято называть арнаутами. *(Прим. автора.)*.

В качестве примера можно привести брошюру И. И. Азарова «В боевых походах», выпущенную в 1961 году в библиотечке журнала «Советский воин».

Позже это подтвердилось, когда был опубликован его очерк «Севастополь», датированный 25 июня 1942 г. Это значит, что за сутки до выхода в море на «Ташкенте» в полевой сумке (с которой он не расставался) уже лежала готовая корреспонденция об исключительно тяжелом положении Севастополя на двадцать первый день штурма, являвшаяся сводкой собранных им сведений. Причем надо помнить, что наиболее драматическую информацию Е. Петров не мог привести по цензурным условиям.

«Красная звезда», 9 июля 1942 г., № 159.

Часть из них была спасена подводной лодкой «М-112» (командир — старший лейтенант Хаханов), также прорывающейся в Севастополь с боезапасом и бензином. Но на «Ташкенте» об этом тогда не знали.